

Анастасия Вербицкая

# Ключи счастья. Том 1



# Анастасия Алексеевна Вербицкая

## Ключи счастья. Том 1

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8989048](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8989048)*

### Аннотация

«Какая таинственная и вечно новая эта книга... В свободные часы растрепанная кудрявая головка погружается в созерцание ее сокровищ...

Вот замок на Рейне, разрушенный рукою времени. Разбойничье гнездо, прилепившееся на высоком утесе, откуда бароны выслеживали и грабили торговые суда. Вот легендарная и страшная Белая Дама, в чепце, как у Марии Стюарт. Долгоносый Струзензее и влюбленная в него очаровательная королева...»

# Содержание

Книга первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	155

# Анастасия Вербицкая

## Ключи счастья. Том 1

### *Роман-дайджест*

*В теле твоём больше разумного, чем в твоей  
лучшей премудрости.*

*И кто знает, для чего именно нужна телу твоя  
лучшая премудрость?*

**Ф. Ницше**

*В любви – доля безумия.*

*Но в безумии – доля разума.*

**Ф. Ницше**

## Книга первая

Какая таинственная и вечно новая эта книга... В свободные часы растрепанная кудрявая головка погружается в созерцание ее сокровищ...

Вот замок на Рейне, разрушенный рукою времени. Разбойничье гнездо, прилепившееся на высоком утесе, откуда бароны выслеживали и грабили торговые суда. Вот легендарная и страшная Белая Дама<sup>1</sup>, в чепце, как у Марии Стюарт.

---

<sup>1</sup> Белая Дама – персонаж немецких легенд. Является в маске и в черных перчатках, преимущественно в полночь. Предрекает смерть. Являлась Наполеону

Долгоносый Струзензее и влюбленная в него очаровательная королева.<sup>2</sup> «Как могла она любить такого урода? Милая, трогательная Беатриче Ченчи<sup>3</sup> с полуоткрытым ротиком и невинными глазками... За что ты погибла?»

Дальше... дальше... Маленькие пальчики лихорадочно теребят листы и замирают на портрете безумной Иоанны Кастильской<sup>4</sup>. Какая красота! Загадочно глядят глаза из-под тяжелых век. С повязки падает вуаль на стройную, длинную, как у лебедя, шею.

Дальше... дальше... Листы шелестят... О, как бьется маленькое сердце!

Наконец! С глубоким вздохом девочка опускает на колени ручки, тихо сложенные, как бы на молитву. И замирает в блаженном забвении.

Картина венгерского художника. Ангел с мужественной, прекрасной головой несет душу женщины ввысь от дьявола, который злобно цепляется за ее одежды.

О, как горд профиль ангела! Как неумолим его взгляд! Как прекрасны его волосы, вздымающиеся над широким

---

перед его походом на Россию.

<sup>2</sup> Струзензее Жан-Фредерик (1737–1772) сначала чтец короля Дании Кристиана VII, затем любовник его жены – Каролины-Матильды, замышлял государственный переворот в духе демократических перемен. Казнен в 1772 г. Прозван «долгоносим» за длинный нос.

<sup>3</sup> Ченчи Беатриса – «прекрасная отцеубийца...» Казнена по приказу папы Климента VIII. Вся семья Ченчи славилась в XVI в. своими преступлениями.

<sup>4</sup> Жанна (Иоанна) Кастильская (1462–1530) – кастильская принцесса.

лбом!

Девочка долго, в благоговейном экстазе глядит на это лицо. Потом приникает к нему губами.

...Какие странные узоры на стекле от мороза! Перистые пальмы, высокие горы... Таинственны! цветы и восточные арабески... А вот и буквы... японские буквы, как на шкатулочках... Быть может, эт! сказка? Быть может, здесь разгадка какой-нибудь тайны?

– Госпожа Ельцова... Мария... Потрудитесь повторить задачу! – говорит скрипучий голос.

И серое лицо математика кротко улыбается Худенькая девочка встает. Из ее больших изумленных глаз на серое лицо глядит целый мир, запретный для педагогов, как книга за семью печатями.

О, с какой высоты упала сейчас ее душа!

– Вы опять «отсутствовали», госпожа Ельцова Мария? Садитесь! – кротко говорит фигура из папье-маше и лицемерно вздыхает.

Кол поставил... Кол... – звучит шепот по классу.

Улыбка скользит по лицу девочки. Но через мгновение глаза ее опять вдохновенно глядят на карниз, где дрожит и пылает последний луч заходящего солнца.

«Милое, милое солнышко! Покойной ночи!»

Через год Анна Сергеевна сидит за чашкой кофе в уютной комнатке фрау Кеслер, в частном интернате, которым заве-

дует баварка.

Это красивая брюнетка сорока лет, сильная и жизнерадостная. Она вдова художника. У нее умерли дети. Но старой она себя не чувствует. И не прочь начать жизнь сызнова.

– Как я рада, что вы полюбили Маню, фрау Кеслер!

– Ее все любят, mein Fräulein! Ее нельзя не любить. Мари – очаровательная маленькая женщина. Настоящая женщина. И теперь уже знает себе цену.

– Ах, Боже мой!

– Warum<sup>5</sup> «ах»! Это очень хорошо – знать себе цену! – Баварка заразительно смеется, показывая чудесные зубы.

– А как она учится сейчас, фрау Кеслер?

– Ни шатько-о... ни валько-о... как у вас говорят... Это дитя с фантазией... Она учит, что ей нравится. И очень способна. Но наград от нее не ждите! Она слишком рассеянна. У нее свой мир.

Анна Сергеевна испуганно всплескивает руками.

– Не надо пугаться! Это счастливые дети, у которых есть своей мир! Они не умеют скучать. И они ходят над землей. Над землей, – повторяет баварка, Делая широкий жест. – Мари не знает, что такое зависть, мелочность. Она родилась принцессой. Что! вы так смотрите на меня, mein Fräulein? Женщины бывают трех типов: кухарки, гувернантки и принцессы. Там целая книга волшебных сказок, в этих глазах...

Но Анна Сергеевна этими доводами не успокаивается.

---

<sup>5</sup> Почему? (нем.).

Мешая ложечкой кофе и щуря на узор чашки близорукие глаза, она боязливо спрашивает:

– А ее поведение, Frau Kesler?

– Примерным его назвать нельзя. Она очень жива. Очень шалунья. Вспыльчива, упряма, эгоистка...

– Ай-ай-ай! Какое несчастье! Неужели же у нее не изменится характер?

О-ла-ла!.. Характер? Was ist denn das?<sup>6</sup> Если характер называется иметь капризы и страсти, то у нее он есть. Между желанием и выполнением у Мари паузы нет. Нравится – подай сейчас! Если нельзя, то слезы и горе, как у взрослой женщины.

– Вы меня очень огорчаете, Frau Kesler! Эта девочка будет несчастна.

– Кто знает, mein Fräulein? Сильно желать чего-нибудь – не есть ли это уже само по себе счастье? Говорят, не жил тот, кто не страдал и не плакал. Не скрою, у Мари есть враги.

– Вра-ги? – Глаза Анны Сергеевны полны ужаса.

– Ха!.. Ха!.. Это, право, не так страшно. И Мари умеет мстить. Вы никогда не видали ее карикатуры? О, это талант! Это наши «о-браз-цо-вые» ученицы, которые получают двенадцать за поведение... Они не терпят Мари.

– За что же?

– За то, что Мари – bohème...<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Что это такое? (нем.)

<sup>7</sup> Богема (франц.).



– Что такое?

– *Bohême*... Неряшлива, небрежна, без привычек... О, да!

У нее нет привычек! Взгляните в ее стол!

– Ах! Она всегда была такая.

– Ну, конечно... Она и не может быть иной... Она любит медальоны, серьги... Все что блестит, что красиво; Выпросит, наденет и забудет отдать.

– *Frau Kesler*! Что вы говорите! Это ужас!

– Успокойтесь, *Fräulein Anne*! Она не ворует их. У нее просто нет чувства собственности. Но «образцовые» ученицы имеют мещанские души. И не прощают Мари такой забывчивости.

– Нет, это ужасно! Как можете вы с этим мириться, *frau Kesler*? Эту черту надо искоренять!

Баварка весело смеется и треплет Анну Сергеевну по плечу.

– О, *liebes Fräulein!*<sup>8</sup> Легче заставить речку течь назад, чем искоренить хотя бы одну черту, вложенную в нас природой. Неужели вы до сих пор этого не знали?

Анна Сергеевна поникает головой, как будто рушится последняя доска мостика, который держит ее над бездной.

– Зато у Мари есть преимущество над многими из нас: вещи не имеют власти над ее душой. На днях Соня Горленко подарила ей прелестное кольцо с бирюзой. У нас учится бесплатно бедная девочка Караулова. Когда она увидела это

---

<sup>8</sup> Дорогая фройлен! (нем.).

кольцо, она заплакала от зависти. «Хочешь?» – спросила ее Мари. Сняла кольцо и отдала ей. Весь класс ахнул. Так поступать могут только принцессы.

Анна Сергеевна встает. Щеки ее пылают.

– Я не могу этого допустить! Она не должна брать таких подарков! Это не в наших правилах. Брат никогда не простит ей, если...

– Полноте! Никакие запреты и наказания не помогут! Отнимите у нее нынче подарки, завтра у нее будут другие. В этом возрасте, Fräulein Anna, впервые пробуждается в нас инстинкт любви. И он безошибочно тянет нас к тем, кто для этой любви создан. Мари всю жизнь будет возбуждать сильные страсти. Что удивительного, если подруги обожают ее? Это естественно. Стало быть, красиво... И я не могу этому мешать!

– Вы делаете большую ошибку... Простите меня, Frau Kesler! Маня – бедная девочка. И ей предстоит скромная доля...

– Гувернантки? – подхватывает баварка. – О, liebes Fräulein! Повторяю вам: Мари создана для счастья. Когда ей говорят, что надо учиться на 12<sup>9</sup> она отвечает: «Зачем? Я знаю, что я хорошенькая. Я буду богата, выйду замуж, а работать не стану!..» И она права.

Лицо Анны Сергеевны становится угрюмым.

– Бесприданницы не выходят замуж, Frau Kesler. Ей надо

---

<sup>9</sup> По двенадцатибалльной системе это – высшая оценка.

выкинуть эти мысли из головы. Это скользкий путь.

– Запретите цветку благоухать, а жаворонку петь. Вы требуете от меня подвига, Fräulein, – насмешливо говорит баварка. – А я только бедная женщина, любящая солнце, детей и радость. И я даю, детям только то, что имею...

Когда Анна Сергеевна уходит, она вынимает из старенького портмоне зеленую бумажку.

– Frau Kesler, вот деньги для Мани. Я не хочу, чтобы она нуждалась! Это мои трудовые деньги, Frau Kesler, и они мне нелегко даются. Для меня, когда я училась (да и теперь – хочет она добавить, но сдерживается), иметь три рубля на свои прихоти было бы целым богатством. И я не хочу, чтоб Маня приучалась к расточительности. Но... меня пугает эта легкость, с какой она берет все у других. До свиданья, Frau Kesler! Подумайте над моими словами!

Ночь. Глубокая тишина. Все давно спят в дортуаре интерната. Маня беззвучно сползает с постели и становится на колени. Слезы экзальтации горят в ее огромных глазах. Она молится. Как хорошо страдать и плакать жгучими слезами, которые уносят силы!

Соня Горленко вдруг просыпается, как будто ее толкнули. – «Опять? – в ужасе шепчет она. – Маня! Ты себя убиваешь. Чего ты просишь у Бога? О чем плачешь?»

Маня застыла на холодном полу, в одной рубашке. Она падает от утомления. Соня ложится к ней под одеяло.

– Я прошу смерти... Я так мечтаю умереть! Умереть...

– Молчи, молчи! – Соня обхватывает ее голову и целует ее глаза и лоб. – Ты хочешь убить меня? Как я останусь жить без тебя? И зачем тебе умирать? Разве ты несчастна? Чего тебе не хватает? Ты окружена поклонением и любовью...

– Я тебе открою мою тайну, – говорит Маня полупшепотом. И голос ее полон такого значения, что У спокойной Сони начинает биться сердце от предчувствия чего-то нового и прекрасного.

– Слушай! Я люблю мою мечту... Ангела в немецкой книге. Завтра я тебе покажу его.

– Ну, так что же?

– На земле я его не встречу. Ангелы не приходят на землю. Неужели ты не понимаешь меня?

– Какое безумие, Манечка! Из-за этого ты не спишь ночами и не учишься! Как ты похудела! Посмотри, на что стали похожи твои руки!.. Ты стояла! за один месяц.

– Ах, это хорошо! – говорит Маня с блаженной улыбкой. – Я дала себе сроку жить ровно три месяца. И в первый день Пасхи я умру... Я это знаю... Я умру!

Соня начинает рыдать.

Но Маня безучастна к ее горю. Душа ее далека от земли!

Теперь Маня так хрупка и бледна, что даже учителя выражают беспокойство. Два раза от слабости с нею были обмороки. Брат и сестра в отчаянии. Зовут доктора.

Соня решается. Под величайшей тайной она говорит фрау Кеслер о грезах Мани.

– Ай-ай-ай! – огорчается баварка – Что ж ты мне раньше не сказала?

– Маня, – говорит она девочке. – Покажи мне эту картину!

Маня не возмущена болтливостью Сони. Она так, апатична.

– Глупое, бедное дитя! – шепчет фрау Кеслер, целуя кудри девочки. – Смотри подпись! Эту картину писал венгерский художник. А художники ничего не выдумывают. Они пишут с живых людей. Да, да! С живых... У меня муж был художник, и я это знаю. Художнику нужна *натура*... Иначе он не может творить. И эту натуру он ищет иногда годы. На улицах, в театрах, в других странах Эта голова; ангела написана с живого человека...

– Фрау Кеслер!

– Да, с живого! Зачем же тебе умирать и уходить; от этой встречи? Только тут, на земле, среди нас ищи его! Вырастай, кончай учиться и поезжай путешествовать! Поезжай в Венгрию. Спроси того художника, где взял он это лицо? И ты встретишь где-нибудь своего «ангела»... И узнаешь счастье. Ты плачешь? О чем? О чем, дитя мое?

В пользу бедных гимназисток начальница устраивает на масленице живые картины, концерт, затем бал. Фрау Кеслер

как женщине с художественным вкусом и инициативой поручено устройство «живых картин».

– Я вам дам идею, madame, – говорит она начальнице. – У нас будет один такой номер, что Москва заговорит о нас. И придется с повышенными ценами повторить этот вечер.

– Фрау Кеслер! Вы – гений!

– Слушайте, madame... Известно ли вам, что маленькая Мари Ельцова дивно танцует?

– Да... учитель танцев...

– Ах, это не то! Это было бы слишком просто. Это дитя – живой символ музыкального ритма. Это талант. И родные сделали огромную ошибку, не посвятив ее сцене...

– Фрау Кеслер, вы меня заинтересовали... Что же она танцует?

– Все... и ничего... Вы слышали об Айседоре Дункан?... В России она еще не была, но с ней так много пишут!<sup>10</sup> Это новый род искусства... как бы возвращение к античной пляске. Маня тоже выражает в пляске все движения своей души, все грезы... Она пляшет бессознательно. Но это творчество... импровизация.

– Вы сами видели, фрау Кеслер?

– О, да... Она танцевала в дортуаре.

– Ночью?

– Ну, да... вечером.

---

<sup>10</sup> Действие романа начинается в 1905 году, Дункан же приехала в Россию только через 12 лет.

– Раздетая?

– Нет, в рубашке.

– Фрау Кеслер! Это неприлично...

– Oh, madame! Одной рубашки совершенно достаточно.

Это та же греческая туника. Наши классические юбочки балерин, поднимающиеся сзади, как хвосты кохинжинок<sup>11</sup> – они слишком безобразны для новой идеи танца. Нужна греческая туника. Вроде той, какую носит Дункан. Без трико и корсета...

– Без корсета?

– О да, madame... Разве Эллада их знала? И если б вы видели, madame, грацию этого ребенка, когда она носилась по дортуару перед восхищенными девочками! Я стояла за дверью и не могла оторвать глаз...

– Она плясала без музыки?

– Да... Соня Горленко напевала какую-то грустную песенку. И все. Но, уверяю вас, madame, я видела... поэму...

Маня ожила... Опять розовеют ее стаявшие щеки. Опять она смеется, сияя ямками. Жизнь манит. Мечта о чудной Венгрии заполняет ее дни и ночи.

Соня выучила венгерские танцы Брамса. И после обеда под их звуки Маня носится по дортуару в безумно-бешеном танце, растрепанная, с пылающими ящиками и глазами, вырывая крики восторга у детей.

---

<sup>11</sup> Порода кур.

– Вот это ты и будешь танцевать, – говорит ей фрау Кеслер. – Это и что-нибудь из твоих грез... тихих и воздушных, под адажио из «Лунной Сонаты».

Ах, что это за вечер! Что за упоение!

Забыв о публике, переполнившей залу, под рыдающие звуки Бетховена Маня скользит по эстраде, озаренная бутфорской луной... В одной тунике и сандалиях... Скользит, как призрак, ломая руки, простирая их к небу, к своей далекой мечте... И маленькое бледное личико с вдохновенными глазами полно потрясающего драматизма.

Под взрыв единодушных, бешеных аплодисментов она убегает за кулисы.

В уборную спешит за нею торжествующая, сияющая фрау Кеслер.

Быстро отстегивает она белую тунику и набрасывает на девочку красную. Все это: обе туники, неизбежное трико, сандалии, коротенькие панталончики и батистовая, тонкая, как шелк, рубашка – куплено и сшито самой фрау Кеслер. Она же из роскошной косы Мани устроила ей греческую прическу. Она же наложила на маленькое личико грим. И Маня стала красавицей.

Вот раздаются экзотические, то тоскливые, то бешеные, звуки «Венгерских танцев» Брамса. В них уныние одиночества и томление неразделенной страсти... В них ширь и зной азиатской пустыни...



Стремительно выбегает девочка из-за кулис. И останавливается... Вся подавшись вперед, напряженная, как струна, с искрящимися глазами... Она как бы прислушивается к нарастающей в душе ее волне творчества...

Миг... И она закружилась, заметалась по сцене, неуловимая, неутомимая, жизнерадостная, искристая. Шпильки упали из головы. Волосы покрыли плечи. Она похожа на русалку, которая кружится в седом тумане над болотом. Она похожа на лесного эльфа, пляшущего под дубом на опушке леса в лунную ночь...

Когда она убегает за кулисы, она падает на пол почти без чувств.

Но ее вызывают, вызывают без конца. Имя ее на всех устах. Завтра о ней будет говорить весь город.

Бледный, затихший сидит Петр Сергеевич в первом ряду кресел, на присланный бесплатно билет. Он – эстет в душе, эстет, несмотря на аскетическую программу жизни, на суровую судьбу свою, – потрясен и захвачен этой красотой.

Кто ждал от маленькой Мани такой силы? Да... Разве не сила – вот эта власть над толпой? Этот стихийный восторг? Этот избыток творчества? Его собственные слезы, которые жгут ему глаза?

– Это дитя создано для любви и счастья! – говорит ему фрау Кеслер.

«Слава Богу! – думает он. – У нее есть теперь на что отдать душу и жизнь... Есть куда уйти от любви... И найти

свое счастье вне шаблонных форм. Пусть идет своей дорогой! Искусство сделает ее свободной...»

— Аня, мы должны отдать ее в театральную школу, — говорит он сестре через неделю, глубоко обдумав все пережитое. — Не будем мешать росту ее души! Кто знает? Не помирят ли ее искусство с печальной необходимостью самоотречения в любви?

Но Анна Сергеевна приходит в ужас. Жизнь артистки, особенно балерины, разве это не омут, в котором погибнет Маня? Нет!.. Нет!.. Не надо предрешать событий!.. Пусть кончает курс! Нельзя закрывать торной дороги перед ребенком. Потом пусть выбирает сама! По крайней мере, у них не будет камня на совести.

— Я мечтала для нее о курсах, о медицине... Обо всем, что судьба отняла у меня...

Он угрюмо молчит. Он чувствует, что науки, упорный труд и альтруизм — не для таких, как Маня.

Теперь девочка — кумир гимназии. К ней приглядываются с интересом. Учителя, начальство... Всегда сдержанная, всегда серьезная Соня Горленко — гордость класса — не скрывает своего обожания. Фрау Кеслер торжествует.

Маня не любит ездить домой на каникулы. Дома тихо, как в келье. Ходят на цыпочках, говорят шепотом. Окна закры-

ты. И Аня все шикает. А мама больная и равнодушная... Ни о чем не спросит. Так угрюмо молчит-. И целые дни лежит чуть не впотьмах.

– Что с нею? – спрашивает Маня сестру.

– Нервная болезнь у нее... Очень тяжелая И Анна Сергеевна вздыхает.

– А когда она поправится? – равнодушно продолжает девочка.

– Никогда, Манечка! Никогда...

В глазах ребенка отражается ужас.

– И мы всегда будем жить так... с закрытыми окнами? Говорить шепотом? И смеяться нельзя? И возиться нельзя?

Анна Сергеевна с тоской гладит растрепанную головку сестренки.

– Ступай на двор, детка! Побегай там с детьми. Конечно, у нас скучно...

Маня растет. Но кошмар ее детства не исчезает. Одно лето она проводит в детской колонии, в деревне. Там весело. Но она скучает.

– Я совсем не буду дома жить, – говорит она Соне Горленко. – Как кончу учиться, уйду к тебе. У нас страшно...

– Бедная девочка! – вздыхает Соня. (Ей 15 лет. Она на год только старше Мани.) – Я скажу маме... Она упросит твою сестру отпустить тебя к нам на лето. Как это будет хорошо!

Маня вскрикивает и кидается на грудь Сони. Имение Горленко называется Лысогоры. Соня выговаривает Лисогоры.

Одно название уже настраивает Маню на мечты. Там жили ведьмы. Они справляли шабаш на этих горах. Все кругом полно легендами, от которых волосы шевелятся на голове.

Она учится еще хуже этот год. Украина, говорит Соня, обожающая Шевченко, – родина ведьм и упырей, знойный юг, черные ночи, большие звезды, другие цветы, странный, гармоничный язык Гоголя... Неужели Маня очутится в этой сказочной стране?

Днем она грезит. Ночью видит яркие сны.

– Маня, – говорит фрау Кеслер, посвященная в тайну. – Возьми себя в руки! Если останешься в классе, тебя не пустит к Соне *bruder Peter*<sup>12</sup>.

Взять себя в руки... Легко сказать! Этого-то Маня и не умеет. Она плачет, зубрит, швыряет учебники на пол. Худеет и бледнеет. На маленьком личике как бы остаются одни громадные лихорадочные глаза. Ей кажется, что она не доживет до лета.

Соня готовит Маню к экзаменам.

– Разбуди меня в одиннадцать, – накануне экзамена говорит она Соне. – Мы будем пить крепкий чай и заниматься всю ночь.

Они встают в одиннадцать, зажигают свечку и идут в «басейн», к столу.

Решив с помощью Сони две задачи, Маня с таинственными глазами говорит:

---

<sup>12</sup> Брат Петя (нем.).

– Я нынче видела во сне попелюху...

– Да ну? – увлекается Соня. – Какая же она?

Маня картинно, как всегда, рассказывает свой фантастический сон.

Попелюха – это исчадие болот. По обычаю малороссов, весь пепел из печей бросают в болото. И по ночам из этого пепла рождается серая жуткая нечисть. И горе тому, кто ее увидит! Это саламандра древних. В нее верят крестьяне. Многие видели ее не раз перед несчастьем: пожаром, болезнью, смертью. В нее верит Соня. И даже мать ее, Вера Филипповна, никогда вечером не пройдет мимо болота.

Маня рассказывает так хорошо, так путается сама своих слов, что даже спокойная Соня теряет самообладание. Смолкнув, они тревожно озираются. Тоскливо слушают, как звонко капает вода в бассейне, среди глубокой тишины. И в этих ритмических звуках им чудится что-то мистическое. Хорошо бы уйти и лечь с головой под одеяло! Но страшно встать...

– Давай работать! – шепотом говорит Соня, придвигая тетради.

Но Маня прикладывает палец к губам и прислушивается... Ее огромные зрачки косятся на дверь, запертую в темный, длинный коридор. Там что-то дышит... Тише!.. Двигаться нельзя... Иначе они пропали...

Зараженная ужасом, разлитым в этих зрачках, Соня застывает в неловкой позе.

Вдруг кто-то шипит над их головой. Господи!

Ах, это часы! Полночь...

Кончился бой. И теперь еще страшнее. Это час видений.

Ноги затекли. Тишина родит неясные шорохи...

– Слышишь?

Идет кто-то... Дух спирается... Сердце стучит в горле и в ушах...

Толстая заспанная девочка в нижней юбке и ночной кофточке... Вошла и стоит.

– Ах! Это ты, Соколова?

О, как легко! И как досадно!

– Я проспала, – испуганно говорит румяная девочка.

Соколова и подруга ее на другом конце комнаты бубнят, сидя на полу и поставив свечку на табуретку.

– Пиши! – диктует Соня. – У одного купца было товару.

Через час обе крепко спят, положив головы на тетради.

На экзамене Маня получает шесть – непереводной балл. Соня рыдает. Она во всем обвиняет себя.

– Если Петя и Аня не пустят меня к тебе, я умру, – спокойно, как о самой обыкновенной вещи, говорит Маня. – Я уже решила... Я умру...

– Как умрешь? – Соня замирает от ужаса.

– Я брошусь из окна... Знаешь, там? В коридоре... Внизу мостовая... Одна минута, и все будет кончено... Я не могу вернуться домой... Я так мечтала о Малороссии!.. Я так мечтала!..

Соня с большими, остановившимися глазами бежит в комнату...

И вот они в поезде, который мчит их на юг. Забыты слезы Ани, суровые речи Пети. «Тебе уже пятнадцатый год... Пора стать серьезной!..» Мимо, мимо... В августе назначена переэкзаменовка. Соня будет готовить ее все лето. Маня прильнула к окнам и не отрываясь глядит в степь.

Поезд останавливается у крохотной, как бы Богом забытой станции. Над низеньким деревянным зданием, как колонны храма, вздымаются могучие пирамидальные тополи. Первые тополи... Они задумчиво качают гордыми вершинами и, как в молитве, протягивают к знойному небу зеленые руки. Под ними темно, как в лесу.

– Маня!.. Маня. Да где же ты? Лошади ждут! – кричит Соня, выбегая из буфета на дебаркадер.

Маня оборачивается. Она – как пилигрим, стоящий у гроба Господня. Крупные слезинки повисли на ресницах.

Ландо, запряженное парой лошадей. Кучер Петро, седой и важный, двадцать лет уже живущий в доме, фамильярно болтает с Верой Филипповной.

Надо ехать сорок верст. И Соня любит эти часы, лучшие в дороге.

Когда степь, где вспаханная, где зеленая от ржи и пшеницы, но все же бескрайняя и могучая, обнимает их со всех сторон и свежий, немолчно дующий ветер ласково целует ли-

ца, – глаза Мани западают. И исчезает бесследно ее живость. Она вся отдается созерцанию.

Какая тишина после грохота целых суток! Как это они не заблудятся в этой пустыне, где все дороги одинаковы?

Вон растрепанное грушевое деревцо одиноко высится на горизонте. Каким чудом выросло оно здесь, в степи, далеко от всякого жилья? Вон старый тракт, обсаженный косматыми вербами. Им по двести лет и больше... Многие истлели внутри и держатся на одной коре. Двести лет! Кто здесь шел? Кто садился под ними, в тени? Куда спешили все эти люди, которых нет? Вольные казаки, гордые запорожцы... А раньше? Раньше?... Все народы шли по этой степи, как волны, сменяя волну. И гибли в ней, поливая ее своей кровью. Печенеги, половцы, татары... Маня закрывает глаза. «Что мне шумит, что мне звенит рано перед зарею?»... – звучат в памяти дивные строфы «Слова о полку Игореве».

– Гляди, Маня!.. Мельницы! – говорит Соня.

Какие они прелестные и смешные! Из-за холма видны только верхние крылья. Они похожи на громадных сидящих улиток.

А может быть, были такие в допотопные времена? Когда разные гады царили в темном дремлющем мире, полном неосуществленных возможностей, на заре земной жизни?

Вот они вылезли и сидят, уставившись на мимо едущих людей. Их огромные черные усы отчетливо Рисуются на горизонте. Ах!.. Шевельнулись... Вертятся. Какие славные!



Вера Филипповна недели две прожила в Москве и теперь без умолку расспрашивает о видах на урожай. Говорят о жите, просе, гречихе. О коровах, о соседях... Она ахает и сокрушается.

Как это люди живут, не замечая разлитой кругов красоты? Не умея благоговейно молчать среди это зеленой беспредельной пустыни, где только жаворонки смеют звенеть там... высоко... Так высоко, что и не видно глазом.

– Курганы, – вдруг говорит Соня.

– Где? Где? – кричит Маня, во весь рост вставая в экипаже.

На горизонте далеко-далеко мреют очертания огромных курганов. Сторожевых ли? Могильных? Кто знает? Кто скажет? Волны истории катились через них, унося даже память о племенах Ревниво хранят! они тайны ушедших...

С быющим сердцем Маня глядит на горизонт.

Когда через час езды ландо приближается к курганам, девочки, взявшись за руки, бегут по пыльной дороге, усыпанной голубым цикорием.

Вдруг Маня останавливается.

Курган весь распахан.

– Не пойду! – говорит она, отдергивая руку. Не хочу!

– Почему?... Взберемся! Оттуда видно так далеко...

– Не хочу! Не хочу...

Слезы повисли на ресницах, когда она садится в экипаж. Вера Филипповна огорчается. В чем дело?

Как странно, что они с полуслова не понимаю ее!

– Здесь Игорь шел с своими полками... Зачем вспахали курган? Зачем?

Вера Филипповна улыбается.

– Милая девочка... Это оттого, что земли мало дорожат каждым клочком.

– Голоден мужик, панночка! – подхватываем Петро, оборачиваясь на козлах.

Маня молчит, отвернувшись. Эти простые слова не утешают ее.

– Неужели опять будет голод, Петро? – спрашивает Соня. – И как возмутительно, мама! Такой чернозем! Столько земли! У нас учат, что Малороссия – житница России...

– Эх, панночка! Да разве это наша земля? Все панское... Все Шенбока... А у нас столько семейств на Амур выселяются!.. И, Боже мой! В Крым молодежь бежит... Дома есть нечего... – Он выговаривает «исть».

Соня задумывается. Ее большие глаза перестают сиять.

– А что слышать, Петро, о столовой в Колтовонщине? Действует еще?

– А как же, панночка! Эконом закрыть собирался... Шенбок не позволил... Дай ему Бог здоровья! Жалеет людей...

– Кто? – вдруг спрашивает Маня. – Кто?

– Штейнбах, – смеясь, объясняет Вера Филипповна.

– Люди говорят, пока не поспеет жито, всех кормить будут...

– Вот как! Это делает ему честь! – небрежно роняет Вера Филипповна.

Село... Как непохоже на русскую деревню! На грязные, покосившиеся избы! Мазанки – чистенькие, беленькие – стоят как именинницы. Только окна почему-то закрыты в такую жару. Какие чудачки! Вот и вишневые садо́чки, и огороды. Пышные мальвы и георгины глядят через плетень. На золотых кустах чернобривца солнце словно забыло свое сияние.

А вон и подсолнечники... Целый лес... Они обернули к солнцу золотые лица. И стоят, задумавшись, поникнув головками... Какие красавцы!

Они пешком спускаются по горе, мимо крутого ущелья, к плотине. Какой высокий, сочный, зеленый тростник!

– Очерет<sup>13</sup>, – подсказывает Соня.

Она разом забывает гимназию и становится хохлушкой.

Маня задумывается... «Дивным пением чудесным огласился очерет...»

Дорога круто повернула влево. Вон на перекрестке стоит высокий крест с грубо разрисованным, стертым дождями изображением Распятого. Недалеко колодец-криница.

Грустью веет от этого креста. Как четко рисуется он на пылающем небе!

– Фыхура, – говорит Соня.

Вера Филипповна крестится, делая набожные глаза.

– Остатки католичества и старины, – объясняет она. –

---

<sup>13</sup> Камыш (южно-русс.).

Землей здесь когда-то владели поляки.

У креста стоит столб, и на нем надписи указывают спутнику дорогу.

«Это трогательно!..» – думает Маня. Она видит в темную ночь в безграничной степи одинокого путника. Как радостно забьется его сердце, когда внезапно из мрака вынырнет перед ним высокий крест и этот колодец! Пустыня уже не будет жуткой.

– Опять замечталась? – смеется Соня. – Лучше погляди назад!

Маня оборачивается и вскрикивает.

Ландо поворачивает... На фоне догорающей заря как на картине, стоит, вся черная, мельница, вой душная и сказочная...

– А теперь сюда, – говорит Соня.

Влево аллея пирамидальных тополей сбегает в яр. И между ними на зеленом небе призрачно мерцаем еле видный серп луны два мира!

– Сказка! – шепчет Маня.

Петро задерживает лошадей и кнутовищем показывает на тополи.

– Липовка... Шенбока имение, – говорит он с почтительной интонацией человека, привыкшего к рабству.

– Штейнбаха, – опять смеясь, поправляет его хозяйка.

– Заболел старик, Вера Филипповна... Дуже заболел. Вчера по телеграфу из Киева дохтура выписали. Нынче ждут

другого из Москвы... Хубернатор у него был вчера...

– Вот как?

– Сыну дали знать... Мне на станции их кучер говорил. А сын за храницей... Еще когда вернется?

«Неужели умрет?...»

Вере Филипповне стыдно показать свою радость. Чувство какого-то освобождения, какой-то смутной надежды. На что? Не все ли равно? Умрет старый паук, грозный кредитор. На смену придут наследники.

Она припоминает, что слышала о сыне. Он прославился как адвокат по политическим процессам. Как-то сложатся их отношения?

– Какой лес! Какой чудный лес! – говорит Маня, указывая на синеющую вдали дубовую рощу.

– Это лес Штейнбаха... – говорит мать Сони. Они едут мимо седых полей ржи, мимо изумрудной свекловицы и бело-розовой ранней гречихи. Слово снег покрыл землю там, вдали...

– Это хлеб и плантации Штейнбаха, – шепчет Вера Филипповна.

Экипаж спускается в яр. Вдали, на горе, между темными купами роскошного старинного парка блестит крыша белого дома с высокими башнями по Углам.

– Какой замок! Какой дивный! – восторженно вскрикивает Маня.

– У нас называют «палац»... Когда-то здесь ночевала Ка-

терина Вторая. Это Липовка, любимое имение Штейнбаха... Лучшая усадьба всего края. Она принадлежала князьям Галицким. Анна Львовна Галицкая вышла замуж за Нелидова... А он все спустили в карты. Штейнбах купил это имение.

– Он что – Крез – этот Штейнбах? Крез, да?

– Да, Маня. Это сахарный король. Все, что мы видим кругом, эти поля, леса, рожь, пшеница, свекловичные плантации, старинная дворянская усадьба даже – все на двадцать верст кругом принадлежит ему. Весь уезд почти его собственность. У него шестьдесят тысяч десятин...

Воображение Мани затронуто. Какая власть!

– У него много детей, значит? Двадцать детей? Или больше?

– Что такое? – Вера Филипповна звонко смеется. – Один только сын...

– Один?.. На что же ему столько земли?

Смеется и Петро, оглядываясь с козел и качали головой.

– Неправда ли, как это возмутительно? – спрашивает по-другу Соня. И тихие всегда глаза ее сверкают.

– Он старый? Он добрый? Он немец?

– Он жид...

– Мама! Сколько раз я тебя просила? Он – русский подданный и кальвинист<sup>14</sup>.

– Ты откуда знаешь? – с сердцем перебивает мать.

---

<sup>14</sup> Человек, исповедующий кальвинизм, одно из направлений протестантизма, основоположником которого выступал Жан Кальвин (1509–1564).

– Дядюшка говорил...

– Все равно – жид! Этого не выдержишь, хотя в десяти реках крестись! Раса, а не религия имеет значение...

– Мама, знаешь, кто так выражается?

– Ах, оставь, пожалуйста!.. Что ты меня учишь?

– Мне не хочется, мама, тебя в чем-нибудь осуждать...

– Скажите, пожалуйста! «Осуждать»! С этих пор еще вы нас учить и судить будете! Не вздумай еще отцу замечания делать! И так уже у него голова кругом идет...

– Лина говорит...

– Кто такая еще эта Лина?

– Лина Федорова... Она теперь в первом классе. Она самая умная у нас, самая чудная... Ее дружбой я горжусь... И она. всегда защищает евреев...

– Все это издали хорошо... Я бы послала эту Лину сюда! У нас в России все зло от жидов идет... Все бунты...

– Неправда...

– Что такое? Как ты смеешь так возражать?

– Дядюшка говорит...

– Ах, отвяжись, пожалуйста, со своим дядюшкой! Нашла кого слушать! Человек собственную жизнь не сумел устроить. А набивает тебе голову всяким вздором!

Вера Филипповна расстроена. Она вынимает платок и обмахивается. Маня презгливо молчит. Носик ее выразительно сморщился...

– А вон и Лисохоры показались! – радостно говорит Соня.

– Где? Где? Где? – кричит Маня. И готова вскочить на сиденье.

Они опять спустились с горы. В долине, среди роскошной зелени, раскинулось село. За ним, вокруг полувысохшего огромного пруда, когда-то большой реки, дремлют старые дворянские гнезда. Всем по двести, полтора лет. Яркий месяц отражается в потемневшей воде. Как хлопья снега, бегают гуси среди аира. Целый лес тростника подступил к плотине. Тянет сыростью. Со всех сторон вода.

– Гребля<sup>15</sup>, – говорит Соня.

««По гребле, неровной и тряской...» – опять звучит в душе Мани. О, какой воздух! Какая насторожившаяся, чуткая тишина!

А красивое лицо Веры Филипповны подернуто печалью. Всякий раз, когда с горы она смотрит на этот обмелевший пруд, сердце ее сжимается. Шесть родовитых имений лежало здесь тридцать лет назад. Псовая охота, званые обеды, балы, свадьбы... Жили не считая, не задумываясь... И теперь где все это? Точно с грифельной доски шаловливая рука стерла все начертанные на ней имена. Кто умер, кто покинул родные края, кто покончил с собой, не желая пережить разочарения... Грустно! Грустно... Старинные усадьбы стоят пустые. Парки заглохли. И хорошо! еще, что не вырублены липовые аллеи. Когда мужичье приобретает имение, вековые липы гибнут под топором. Штейнбах – все-таки культурный

---

<sup>15</sup> Гать, насыпь или вал от воды (южн.).



человек. Он щадит родовые гнезда».

Точно угадывая мысли хозяйки, Петро оглядывается с козел.

– На той неделе у Лизогубов лес купил Шенбок. За долги, стало быть, ему отошло... Слыхали, Вера Хвилипповна?

– Уже?

Да, это неизбежно. Вот и ее собственная земля, эти Лысогоры, где жил еще при Петре казачий сотник, предок ее, дом, где она родилась и росла, – все понемногу переходит в цепкие руки. Как паутиной обволок грозный кредитор весь уезд, и все помещики работают только на него. Жизнь дорожает. А они не умеют по одежке протягивать ножки. Не думали они, что Соне достанется так мало! Под старость тяжело менять привычки... Хотя бы усадьбу-то уберечь среди этого общего крушения!

Навстречу едут телеги, запряженные волами. Везут сено. Как чудно пахнет! Хохлы в высоких шапках-гречневиках, молодые и старые, почтительно кланяются, еще издали обнажая головы. Петро важно кивает им с козел.

Когда уже совсем в темноте экипаж въезжает на широкий двор усадьбы и собака кидается навстречу с громким лаем – Маня по уши влюблена в Малороссию!

Маня быстро освоилась с праздной, шумной жизнью хлебосольных помещиков. Она словно родилась в дворянском гнезде.

Тут еще живы легенды о свирепом магнате – дедушке Веры Филипповны. Свою любовницу, похищенную у мелкопоместного соседа жену, он томил в подземелье, в глухом лесу. Мане показывали уцелевшие еще остатки подземных тюрем, с цепями и решетками, для провинившейся дворни. Сто лет назад здесь шла такая разгульная, привольная и дикая жизнь, напоминавшая нравы немецких разбойников-баронов!

Маня влюблена в эти развалины, заросшие плющом, в таинственные склепы, где спят предки хозяйки, так мало грешившие, так много любившие... Влюблена в этот густой, запущенный парк, переходящий незаметно в лес. Сколько там полуразвалившихся беседок, мостиков, перекинутых через гложущие пруды с старыми, отживающими свой век лебедями! Какая поэтичная лодка дремлет в высоких камышах! Она влюблена в старый дом, двухэтажный, деревянный, с лабиринтом комнат, диванными, курильными, девичьими... Где широкая жизнь идет, как бы игнорируя отмену крепостного права и общее оскудение. Она не устает любоваться старой мебелью ампир, которую никто в доме, кроме дядюшки, не умеет ценить, привыкнув к ней с детства. Она восторгается столиками карельской березы с инкрустацией по углам, потайными ящичками, от которых пахнет сушеными розами и тайной. Она находит там нередко записанный женской рукой, выцветший рецепт какого-то декокта<sup>16</sup>.

Один раз под ее пальцем нечаянно щелкнула на види-

---

<sup>16</sup> Отвар (устар.).

мая пружина... В потайном ящичке белел листик бумаги... Мелкий бисерный почерк... Стихи Ламартина... Знаменитые любовные стихи...

Маня задрожала. Кинулась к Соне...

Они читают эти стихи... Они с трепетом держат в руках этот обрывок чужой тайны. Эту реликвию исчезнувшей души.

– Я возьму это себе на память, – говорит Маня с влажными глазами.

А эти нежные, как акварель, чашечки с цветами и золотым ободком! Эти пастушки с золоченым корзиночками, с отбитыми ручками! Драгоценный фарфор исчезнувших фабрик, переходивший от поколения к поколению. Кто их любит? Кто их ценит! Пыль покрывает прелестные пудренные головки и венки из незабудок на хрупких блюдечках. Маня находит их среди хлама. Целует их и уносит в свою комнату.

Маня подружилась с дядюшкой, братом Веры Филипповны. В сорок пять лет он очень интересен.

У него бритые щеки, модная острая бородка и прекрасные глаза. Он очень занят собой и не хочет стариться. У него был паралич. И он ходит с изящной тростью, слегка прихрамывая.

Его имение – рядом – давно перешло к Штейнбаху. И он живет у сестры, потихоньку проживая остатки капитала. Он очень дружен с сестрой. С зятем далек. Горленко – сын обедневших мелкопоместных дворян. Он все дни проводит в по-

ле. Он, как и прислуга, зовет дядюшку с иронией: «Паныч».

Дядюшка жил в Париже, многое видел за границей. Чуждые портреты Герцена и Гарибальди висят на стене. У него прекрасная французская библиотека и ценные гравюры. Особенно любит он Бёклина<sup>17</sup>. Маня смотрит по вечерам альбомы и слушает, вместе с Соней, лекции дядюшки по искусству.

– Какие вы разные! – говорит он девочкам. Соня слушает сосредоточенно, опустив ресницы.

Вникает в каждое слово. И, прежде чем принять его, словно рассматривает. Маня слушает глазами. О, какие глазищи! Блестящие, жадные. Ничего не пропустят. Все глотают. И все им мало!

Дядюшка втайне немножко влюблен в эту живописно растрепанную головку, в эти «глаза *Миньоны*».

Маня тоже любит дядюшку. Любит его юмор, его любовь к природе, его утонченные вкусы, его изящную бледность и одиночество.

У него была романтическая юность. Он любил какую-то замужнюю женщину и поэтому не женился. Это Соня тихонько рассказала Мане. В его пропитанной табаком и увешанной оружием комнате Маня украдкой любит портретом этой дамы. Любуется головками Клео де Мерод, Линой

---

<sup>17</sup> Бёклин Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец, художник-символист.

Кавальери и Захаретт<sup>18</sup>. Особенно любит она трагическое лицо Клео... Из гравюр она больше всего ценит «Лесную тишь» Бёклина и «Дачу на море».

Болезнь лишила дядюшку наслаждения охотиться с борзыми. Но он и сейчас страстный охотник и лучший в губернии стрелок. К обеду он всегда переодевается. И морщится, если Горленко входит в столовую в пыльных сапогах.

Маня обожает верховую езду. Гнедко такая прелестная капризная лошадь! Маня в седле сидит так, словно родилась амазонкой. Соня боится горячих лошадей.

– Мы, кажется, увлекаемся? – смеется Вера Филипповна. Ей немножко обидно за Соню. Типичная хохлушка, с круглым личиком и бровями шнурочком, она тушует перед своей яркой подругой.

Сам Горленко – высокий, тучный, с красным, всегда озабоченным и сердитым лицом. Любит вы пить, любит повинтить<sup>19</sup>. Страстный охотник, но стреляет хуже дядюшки (темперамент мешает) и заведует его выдержке. Он обожает дочь, но от долгой жизни в провинции он опустил и огрубел. Вера Филипповна часто краснеет за него при посторонних. Дядюшка брезгливо морщится на его mots<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Маня перечисляет имена «звезд» французского декаданса – балета, в частности...

<sup>19</sup> Зд. поиграть в винт (устар.).

<sup>20</sup> Словечки (франц.).

По вечерам, собирая на ужин огурцы, горничная Мелашка громко поет на огороде.

– Это она на болоте попелюхи боится, – смеется дядюшка. – Огороды рядом с болотом. Вот она для храбрости и распевает.

Маня крадется вечером на болото. С крутого берега свесились вековые вербы. Болото тянется на версты. Днем ярко-зеленое, как плющ, оно ласкает глаз. Ночью родит большие туманы.

Прислоняясь головкой к стволу вербы, Маня глядит на этот клубящийся, какой-то синеватый туман. Там таинственная попелюха. Она ждет полуночи, чтоб родиться. Ах, если бы одним глазком увидеть, как зашевелится она внизу!

Она досиживает до темноты. Нервы ее так взвинчены, когда она спешит домой, к ужину, что крик совы в дуплистой липе доводит ее чуть не до обморока. Но она счастлива.

По вечерам она часто говорит с Петро. Тот на своем веку всего видал. И русалку на гребле, и ведьму за клуней. И черт один раз чуть не утопил его на плотине. Затащил в болото... Да спасибо, что вспомнил, перекрестился... А то не быть бы ему в живых!

– А черт – как захохочет! И пропал... А я уж на хребле стою...

– Да вы пьяны небось были? – смеется дядюшка.

Маня грозит ему кулачком. «Противный дядюшка!»

– Действительно, Хведор Хвилиппыч... У менэ в голове

дуже шумело. Но пьян я не был. Ни! Хорошо, я догадался, перекрестился вот так. Как он захохочет! И пропал. А я уж на хребле стою...

Он раз десять рассказывает об этом. И все в одних и тех же выражениях.

По гребле да мимо кладбища он никогда ночью не пойдет. Потому – нечисто.

Но Маня верит во все: и в ведьму, и в черта, и в русалку. Для нее не умерли боги...

Любит она и пение дивчат на селе, в праздники. Только мало певуний осталось. Многие ушли в Крым, на заработки. А парубки ходят угрюмые. Все собираются кучками. О чем-то шепчутся...

Всей семьей Горленко в экипажах возвращаются вечером с поля, со жнитва. Внизу, в лощине, идет скот.

– Глядите! Глядите! Что они делают! Какие смешные! – кричит Маня, дергая дядюшку за рукав.

– *Oh sancta simplicitas!* – смеется дядюшка. – *C'est trop fort, èa!*<sup>21</sup>

Вера Филипповна вспыхивает. Соня молчит и смотрит в сторону. Ее губы стиснуты. На лбу, между бровей шнурочками, залегла тонкая морщинка.

– Ах, какие они смешные! – кричит Маня, задыхаясь от смеха.

---

<sup>21</sup> О, святая простота! (лат.) Это, пожалуй, слишком! (франц.).

Удар пастушьего бича прекращает эту идиллию.

– Не оглядывайся! Довольно! – обрывает резко Вера Филипповна. – Ты ведешь себя неприлично!

Изумленно и сконфуженно глядят на нее «глаза Миньоны».

В спальне, вечером, после долгого колебания Соня говорит подруге:

– Маня... Принято не замечать того, что ты нынче видела в поле. И не говорить об этом. Мне была очень досадно, что ты смеялась. Знаешь, что это было?

– Нет... – Глаза Мани широко открыты.

– Это любовь животных...

– Лю-бовь??!

Соня спокойно объясняет то, что неизвестно детям города. Она же с детства любит животных. И проводила целые часы на скотном дворе. Для нее давно нет тайны. Ей ни смешно, ни противно. Скотница сама хлопочет о том, чтоб встретились пары. От этого родятся прелестные телята или жеребята. Такие беспомощные, невинные, с кроткими глазами. И все этого ждут. И все говорят об этом не стесняясь, когда корове или лошади надо родить. Все это так просто! И только мама воображает, что я об этом не знаю ничего...

После долгой задумчивости Соня говорит, как бы думая вслух:

– Животные счастливее людей. У нас была горничная Оксана... Красивая, так чудно пела!.. И дядюшка любил ее...



– Как любил? Что ты говоришь? Как мог он ее любить? А дама на портрете?

– Ах, это другое. То было давно... Ну, словом, у Оксаны должен был родиться ребенок. И ее прогнали... Ах, как сердилась мама! Как она плакала, эта бедняжка! Теперь она живет у Лизогубов и все еще... любит дядюшку. И бывает у него в гостях... Но мама до сих пор ее на глаза не пускает.

Маня вдруг бледнеет. Из огромных глаз глядит потревоженная, пробуждающаяся душа.

– Так ты думаешь... Пстой!.. Ничего не понимаю... Ты думаешь, значит, что и люди... что любовь...

Соня краснеет и отворачивается.

– Не знаю, право... Может быть, да...

– Молчи! Молчи! – бешено кричит Маня. – Нет!.. Нет!.. Этого не может быть!.. Не должно быть!..

– Перестань! Маня! О чем ты плачешь?

– Ах, зачем ты мне сказала! Зачем ты разбила мои грезы? О, какое отвращение! Я не хочу теперь любить! Я не хочу жить! Я не могу видеть дядюшку!

– Маня... Прости меня! Маня...

– Нет! Я не верю тебе! Мы не животные... Мы люди... Этого не может быть! Слышишь ты? Этого не должно быть!

Каждый вечер Соня и Маня ходят на леваду любоваться солнечным закатом. До безумия любит Маня этот час, когда пылают краски. Потом гаснут, словно огонь под пеплом. И быстро, без сумерек, падает нежная ночь.

Такая дивная тишина стоит в степи! Только гогочут гуси, которых гонит крохотная девочка. Скрипучие, металлические, словно железные звуки...

Дурман – белый, яркий – встает по дороге из полумрака. Маня любит его запах, ядовитый и сладкий...

А как пахнет конопля в эти часы! Целый лес ее стоит на краю поля. Высокая, растрепанная, она похожа на русалку.

В светлых платьях, с венками из васильков, с распущенными косами, они сидят на пригорке.

Солнце садится. Зловещая сизая марь поглощает его лучи. Овальное, как яйцо, алое и огромное, оно опускается за тучу. Вон оно уперлось краем в землю. Словно село... Какое смешное!

Кругом тишина. Только что прошло стадо. И туч пыли еще стоит в неподвижном воздухе.

Вдруг топот лошади доносится издали. Кто-то едет по дороге. На горизонте, против солнца, силуэт всадника кажется гигантским.

– Кто это такой? – недоумевает Соня.

Всадник приближается. На нем серая парусиновая блуза, краги и странный головной убор, похожий на шлем греческих воинов. Лошадь породистая, английская. Поравнявшись с холмом, всадник снимает шлем и гордо склоняется перед девушками.

Крик вырывается из груди Мани. О, какой потрясающий,

безумный крик ужаса и восторга!

Она узнает гордый профиль, прекрасный лоб, неумолимый взгляд... Она вскочила... Безумное сердце рвется вслед за видением ее ночей. Она схватилась за грудь руками...

Всадник скрылся. В пыли, поднявшейся по дороге долго слышен топот лошади...

— Какой интересный! Кто бы это мог быть? Манечка... Ты никак плачешь? Манечка... Что с тобой?!

Упав на сухой пригорок лицом вниз, Маня рыдает. Восторг? Отчаяние? Что сильнее в этот памятный миг в раскрывающейся душе женщины?

Эти слезы — первая весенняя буря. Она ломит лед, гонит снег. И зовет к солнцу и жизни незрим дремлющие в земле ростки.

В гимназии, в нижнем этаже дома, есть круглая большая комната, вся в широких окнах, похожая на беседку. Там стоят рояль и два стула. Больше ничего Профессор Вольф дает здесь уроки музыки, а в свободные часы играют пианистки. В окна виден сад, остатки заглохшего цветника, занесенного снегом. Виден закат. Это любимая комната Мани.

Она сидит на подоконнике, подняв глаза к последним лучам. На ее смуглом лице, румянном и пушистом, как абрикос, играют алые блики. Мане шестнадцать лет. Но все так же непокорно выются спереди и у висков волосы. Профиль неправилен, и рот с яркими губами немного велик. Каприз-

ной, неровной линией раскинулись темные брови. Одна выше другой. Но темные глаза сверкают и искрятся. И только их и видишь в этом оригинальном лице.

Они уже все прочли потихоньку Золя, Прево, Кнута Гамсуна, Пшибышевского<sup>22</sup>... Особенно сильное впечатление вызывает «Homo Sapiens» и «Пан»<sup>23</sup>. Завесы сорваны. Тайны нет. По крайней мере, в теории. У кого замужние сестры, как у Лины Федоровой, для тех все просто. И они с отвращением говорят о том, как мало поэзии в браке! Как скучают замужем их сестры! Как с первым ребенком замыкаются для женщины горизонты.

– Я никогда не выйду замуж! – говорит Маня. – Какая гадость все эти отношения! Особенно если разлюбишь... Нет, я даже представить себе этого не могу. Родить детей... Одного... пятерых... Нет! Я пойду на сцену. Я так разочаровалась в любви, что не влюблюсь уже никогда!

Ее преследует, особенно ночами, во сне, буколическая картинка в лощине. Эта отвратительная тайна природы, которую она подглядела... Ах! Смешно называть это тайной, когда все совершается так откровенно, так бесстыдно! Но она постоянно видит эти образы. И просыпается с бьющимся сердцем. Вся горячая и измученная...

---

<sup>22</sup> Зд. Вербицкая дает читателю перечень так называемых «аморальных» писателей XIX–XX века, которых было запрещено читать в женских учебных заведениях.

<sup>23</sup> Роман «Homo Sapiens» написан польским писателем С. Пшибышевским в 1895–1898 гг... «Пан» принадлежит перу К. Гамсуна.

Часто она плачет без причины. И говорит, что ей не хочется жить. Она слишком разочарована...

Соня тоже решила игнорировать мужчин. Она мечтает о курсах. Она сердится на Маню за ее мечты. Быть на сцене, да еще танцовщицей? Позор! Кто их уважает? Кто их смотрит? Старички да офицеры! Неужели жизнь надо отдать на это?

Она за Маню решает, что надо идти на курсы.

Но Маня загадочно отмалчивается.

Опять лето.

Поезд мчится, и ландо ждет у станции. О, радостно Петро приветливо снимает шляпу. Как он постарел за один год! Подвода грузится багажом. И Веря Филипповна, похудевшая за эту зиму, со вздохом откидывается на спинку ландо...

Опять высокое небо. И черные ночи... И огромные мигающие, как очи, звезды.

Но здесь, на земле, все неуловимо изменилось. Настроение хозяев имения, отношения к рабочим, к соседям, даже интимная жизнь. Цветник гложет роз уже нет. Садовника рассчитали. О красоте не думают.

Чудный фруктовый сад сдан в аренду. Какие-то чужие лица, дети арендатора – снуют по саду и зевают под окнами.

Тревога разлита в воздухе. Ее стараются подавить, но она не уходит. Она глядит из глаз хозяйки, из растерянных жестов хозяина. По-прежнему он целые, дни проводит в поле, в нанковом пиджаке и в высоких сапогах. Но теперь он не

только не переодевается к обеду, а часто садится за стол, забыв даже вымыть руки. И только дядюшка, корректный как всегда, *tirê a quatre épingles*<sup>24</sup>, как говорят французы, брезгливо косится на его грязные ногти.

Вера Филипповна равнодушна. Ах, жить стало так трудно! Этот Штейнбах, наследник покойного, не успел ввалиться в их края, как народ точно взбесился. Он так поднял цены, что нет рабочих рук. Приходится кланяться мужичью. Да и нелегко с ними ладить теперь! Говорить панам приходится оглядываясь да подумавши. И кто может сказать, во что выльется это все накапливающееся недовольство? «Жакерии»<sup>25</sup>...» – грозит дядюшка. Ему хорошо зубоскалить, когда терять нечего! А тут еще эти газеты! Эта дума. Разговоры о земле. Неужели, правда, отберут все у дворян? Разорят их? Пустят по миру?

Плохо спится панам от забот.

– Девочки, не ходите далеко, – просит Вера Филипповна. – Всякий народ бродит по дорогам. Вас обидят...

Но Маня каждый вечер ждет на леваде<sup>26</sup> всадника. Она сидит на холме и смотрит вдаль. И вся душа ее в этом взгляде.

Ночью девочки просыпаются от необычного шума.

---

<sup>24</sup> Щегольски одет (франц.).

<sup>25</sup> Аллюзия крестьянских восстаний во Франции в XIV в.

<sup>26</sup> Огороженный, окопанный луг (южн.).

Набат зовет и будит спящих своим медным голосом, полным безысходной тоски. Алое небо подернуто сизым налетом. Оно мигает и точно дышит...

– Пожар! – замирающим голосом говорит Соня.

Маня в одной рубашке кидается к окну и распахивает его настежь.

– О, какая красота! Взгляни!

В доме хлопают двери. Слышны истерические крики женщин. На дворе мелькают фонари. Дымятся осмоленные факелы. Люди бегут со стороны села и кричат что-то... Силуэты у всех такие резкие. Скотина проснулась и испуганно мычит и блеет. В окно тянет гарью.

– Неужели у нас пожар? – с остановившимися глазами спрашивает Соня. И, полуодетая, бежит вниз.

Горит клуня, куда только что накануне Горленко велел свезти с поля все жито.

Вера Филипповна рыдает на террасе. Соня поит ее водой. Бабы визжат, причитают, бестолково мечутся со двора на пожар и обратно на кухню, всем мешая, всем попадая под ноги.

Маня выбегает за ворота, огибает сад и вскрики вает от восторга. Как громадный, ослепительный ко! стер пылает клуня, далеко кругом разбрасывая огненные искры, кидая ими в черное небо как бы дерзким вызовом и мстью. Сам Горленко, дядюшка Петро и рабочие рубят загоревшийся плетень и пла щут из ведер на скрутившиеся и сохнувшие деревья! Какие у них у всех от копоты чужие и страшныщ лица!

Со стороны села несется вой баб, плач ребятишей и отчаянный гвалт. К сожалению, ветра нет. На такая засуха! Каждая искра опасна...

— Отстоят ли село? — плачет Соня. Она бледная и подавленная. — Года два назад полсела выгорело. Если б ты знала, Маша, какая здесь беднота!

— Слава Богу! Гремит и звенит пожарная ко! манда Штейнбаха. «Эконом», как его называют на селе, — управляющий Липовки — спешит к соседям.

— Наконец-то! — говорит Вера Филипповна я крестится. — Теперь службы не загорятся.

«Отстоят село...» — думает молчаливая Соня.

Как гекатомба<sup>27</sup> пылает великолепное пламя... Потом падает. Все кончилось...

А через неделю опять пылает небо. Опять зовет я тоскует набат.

Горят Дубки, усадьба Нелидовых.

В Лысогорах не спят. Ужас вошел в дом идохну! холодом в души. Теперь уже никто не сомневается что это поджог.

Дубки лежат за десять верст. Дядюшка и Горе ленко поехали в кабриолете на помощь соседке. Анна Львовна живет и хозяйничает одна, стараясь вырвать родовое гнездо из лап кредиторов, которые жадно тянутся отовсюду после смерти разорившего ее мужа. Двое сыновей ее служат в министерствах, в Петербурге. Давно женаты.

---

<sup>27</sup> Крупное жертвоприношение (греч.).





что за глаза!

– Вот интересная! – шепчет Маня подруге. – Знаешь? Она напоминает старуху-барыню с костылем перед Пугачевым. Помнишь картину в «Ниве»<sup>28</sup>?

Соня сочувственно кивает.

Целый месяц говорят об этих пожарах.

Губернатор приезжал к Нелидовой. Полиция сби лась с ног.

Виновных не находят.

Солнце село. Маня и Соня идут с левады домой.

Поднявшийся на закате ветер относит звуки их легких шагов.

У пустой сушилки, открытой настежь, но еще с прошлого года пропитанной запахом табака, стоит Зяма.

Рядом – маленький, хрупкий блондин. На нени как на Горленке, куртка и высокие сапоги. На голове студенческая фуражка. Но это ничего не доказываем Это в моде. И все парубки носят такие же фуражки.

У него породистое, тонкое лицо с русой девственной бородкой. Глаза поэта. Белые маленькие руки! барина, не знавшие тяжелого труда.

– Нет, мне нравится такая жизнь, – говорит он на языке

---

<sup>28</sup> Журнал «Нива» печатал нечто вроде истории в картинах, воспроизводя как работы известных художников, так и литографии лубочного толка.

кацапов<sup>29</sup>. – Я люблю цветы.

– Вы же ничего не понимаете в садоводстве! – резким гор-  
танным голосом перебивает Зяма.

– Почему вы так думаете? Я много читал. Па крайней  
мере, знаю настолько, чтобы оградить себя! от подозрений.  
Сейчас я изучаю жизнь орхидей. – Зяма сердито фыркает. –  
Нет, это интересно! У цветов такая сложная жизнь! Такая  
таинственная душа! Вы не читали Метерлинка? Да, ведь вы  
не любите его...

– Теперь не время читать эту ерунду! – перебивает Зяма.  
И в голосе его горит страсть. – Ах, вы меня очень огорчаете,  
Ян! Что сделал с вами город за эти полгода! Я молился на  
вас. Готов был целовать край вашей одежды...

– Мне это не нужно, Измаил! Я враг фетишизма! Зяма  
внезапно настораживается.

Девушки приближаются. Их прячет высокий лес резко  
пахнувшей конопли. Но им слышно все.

– Я очень устал, – говорит Ян своим мягким, почти жен-  
ственным голосом. – Не судите меня строго, Измаил! Не  
иметь полгода пристанища, каждую минуту ждать ареста  
и смерти... Вы лучше всякого другого могли бы понять  
мою психологию. Мне надо отдохнуть. Поверьте, если б не  
Штейнбах...

– Тише, Ян!

Как клещами хватает Зяма руку товарища. Его черные

---

<sup>29</sup> Прозвище, данное украинцами русским.

глаза с звериной остротой пронизывают мглу.

Две фигуры выплыли из сумрака полей. Теперь они рядом.

Ян приподнимает фуражку. Зяма не двигается.

Одно мгновение...

С легким восклицанием девушки идут дальше. Почти бегут.

– Кто эти прелестные девушки? – задумчиво спрашивает Ян.

– У прелестных девушек тоже есть уши, – отвечает Зяма сквозь стиснутые зубы. – Что слышали они? И чего не слышали?

Ян гордо качает головой.

– Женщина не может быть предательницей! – говорит он с убеждением.

Дядюшка повез барышень в Липовку осмотреть парк и палац. На полдороге между двумя усадьбами лежит проклятое место. Ни один хохол не пройдет ночью мимо. Это небольшая дубовая роща на круче глинистого обрыва. Когда-то там нашли удушенника. Никто его не признал. Было ли это убийство или! самоубийство, осталось тайной.

Тело похоронили на опушке рощи. И поставили над безымянной могилой печальный черный крест.

Когда заря огнем охватывает небо, он – высоким и жуткий – четко рисуется на горизонте. И кажется еще вы-

ше. Когда же месяц серебрит степь, невольно вспоминается «Страшная месть». Вот-вот крест зашатается. Мертвец встанет из могилы. И с воем подымет к месяцу костлявые руки.

Под горой – яр. Тоже проклятое место. Там пруд-ставок. Когда-то река... С лесом камышей, с холодными ключами, с глубокими, предательскими ямами на дне. Но купаться негде, кроме этого пруда. И потому каждый год там тонут и дети, и скот.

У решетки парка коляска останавливается.

– Можно? – спрашивает дядюшка сторожа.

Тот срывает фуражку и стремительно кидается высаживать щедрого пана.

– Хозяина нет? – спрашивает дядюшка, охорашиваясь.

– Ждем с минуты на минуту, ваше благородия Из Киева ждем. Вы уж извините... В палац нельзя сейчас. В парк – пожалуйста!

Маня сразу теряет дар речи. Она не могла себя представить, чтоб в глуши Малороссии были такой здания.

– Итальянец архитектором был. Это стиль восемнадцатого столетия, – объясняет дядюшка. – Помните, девочки, художника Борисова-Мусатова? Я вам показывал в прошлом году, в журнале. Он рисовал вот такие же дворцы вдали, между двумя: стенами столетних аллей.

Вся широкая дорога между липами, ведущая к дому, – сплошной ковер из цветов. Посредине высоко бьет фонтан из рога, который держит мраморная улыбающаяся нимфа.

– А в оранжерею можно? – спрашивает дядюшка.

– Пожалуйста... Там новый садовник покажет.

– Ах, девочки, какие тут орхидеи! Покойный Штейнбах был человек со вкусом. Он любил все редкой Этот дом он купил у Нелидовых, когда те разорились. Все было запущено. Здесь рос бурьян, вместо этой гвоздики и левкоев. А в парке теперь какие дивные экзотические породы! И подумать, что все это великолепие досталось человеку, который даже не живет здесь... И приезжает, как гость!

– А где же он живет? Где?

– Это космополит, Манечка. Нынче в Москве, завтра в Венеции, а там в Лондоне... Счастливец! Никому не завидую так, как ему. Ой, берегите ваши сердца, девчурки, если когда-нибудь его встретите! Он красив. До неприятности...

– Кра-сив? Ты разве его видел, дядя?

– Видел раз... На званом обеде, у покойного старика.

– Он жид, – говорит Маня, морща нос. – Жиды не могут быть красивы.

– Обскурантка!<sup>30</sup> – смеется дядя и грозит ей пальцем.

В оранжерее приятный полусвет. Душно от запаха каких-то цветов. Садовник возится над кадкой, сидя на корточках.

– Эй, послушайте! Любезный! – говорит дядюшка с тягучими барскими интонациями. – Где у вас тут орхидеи?

Садовник оглядывается и встает. У него породистое лицо

---

<sup>30</sup> Враг просвещения, невежа (от франц.).

с русой девственной бородкой. Глаза поэта. Белые маленькие руки барича, не знавшие тяжелого труда.

У Мани большие глаза. И зрачки разлились от волнения. Она локтем толкает Соню. Та густо вспыхивает. Она тоже узнает незнакомца.

– Идите за мной, – говорит он мягко и властно.

И сам идет впереди.

Какие чудища! Безобразные туфли дрожат на высоких стеблях. Разноцветные бабочки, казалось, задремали над цветочным горшком! Странные, чуждые гигантские насекомые прильнули к ветке. Все что хотите, только не цветы. Самая причудливая фантазия не могла бы создать таких загадочных контуре таких разнообразных красок...

Нежным голосом, сухими жестами маленьких рук садовник объясняет, называя каждую породу по-латыни. Он говорит так красиво и поэтично, описывает особенности этих таинственных растений, как бы раскрывая перед людьми темную душу цветов, что дядюшка поражен. Девушки глядят, не отрываясь, в его лицо. Затихшие, взволнованные...

– Вы говорите о цветах, как о людях... – тихо замечает Соня.

Он смотрит ей прямо и просто в зрачки. И ел глаза как будто светятся.

– Да, для меня они ближе, – отвечает он.

Странная пауза, полная значения, мгновенно наступает в душной оранжерее после этих простых слов.

Дядюшка сконфужен. Мелочь, которую он приготовил, чтобы дать на чай, тихо звякает, опущенная вновь на дно кармана.

– Вы... учились садоводству? – спрашивает он.

«Фу, черт! Какой глупый вопрос!..» – думает он тут же.

– Вы здесь недавно?

– Да, – холодно, нехотя звучит ответ.

Еще секунду стоят они, растерянные. Потом дядюшка первый вежливо приподнимает панаму.

– Благодарю вас! – робко говорит Соня.

Садовник полным достоинства жестом касается фуражки.

И, замерев, глядит им вслед.

– Миколай Сергеевич! Где вы там? Миколай Сергеич! – кричит какой-то мальчик, подбегая к оранжерее. – Вас в контору просят... Семена привез Хведор из города.

– Сейчас...

Дядюшка и девушки следят горячими глазами, пока тот, кого звали Яном и Николаем Сергеевичем, легкой, эластичной поступью идет через двор. Маленький, изящный, хрупкий.

– Какая прелесть! – говорит Маня. – Разве вы не видите, что это переодетый принц?

И они хохочут, вспоминая: «Эй вы, любезный!»

– Мне начинает казаться иногда, что мы не живем, а спим.

И видим сны, – говорит Маня в парке. – Неправда ли, дядюшка? Этот принц... А потом наш рабочий Искра... Вы его



заметили? Он тоже как переодетый. И не кажется ли вам, что это только прелюдия к какой-то феерии?

Дядюшка тихонько щиплет ее за щеку.

– Умна! Что говорить! Только как бы в этой феерии нас всех черти не унесли!

Они целый час бродят по парку, любуясь деревьями. Громадный склеп с могилой Штейнбаха поражает воображение Мани. Это какая-то индийская пагода, облицованная мрамором. А внутри пирамида Цветов. На стене венки с надписями. Серебряные, фарфоровые, лавровые. Из веток пальм, с лентами и надписями. В глубине портрет покойного во весь рост. На груди его ордена, русские и иностранные. Надменное бритое лицо с хищным профилем и развитыми надбровными дугами. Зоркие и молодые глаза следят, как живые, за всеми движениями чужих.

– Хорош как портрет!

– И лицо интересное! – говорит Маня.

Все они невольно понижают голос.

– Да, это не плебейское лицо. Их род очень древний... В средние века его предки жили в Англии еще при Генрихе Восьмом.

– Неужели? – шепчет Маня.

– И он был недюжинной личностью. Весь края он держал в руках. И делал много добра. Что это за похороны были! Весь уезд на поминки съехался, Губернатор из Чернигова, многие журналисты из Киева, помещики. Да, он умел жить. Ишиб-

ко жил, И любил женщин, дети мои. И знал в них толк. А в это имение он был влюблен. Он на него ухлопал около миллиона. Эх, жаль! Нельзя нам в палац! Там шкафчик у него есть резного дуба. С изображением Благовещения. Работы тринадцатого столетия. Церковная утварь. Ему миллион за него предлагал Базилевский. Не отдал.

Они медленно обходят громадный, как озеро, пруд с островками, гротами, мостиками и лебедями.

Они идут обратно, к коляске, которая ждет их за чугунной решеткой.

Ах, эта решетка! Какая красота эти темные, строгие линии и золоченый герб наверху!

– Вот за что ценю старика. Не польстился на моду. Не поставил решетку в стиле «модерн». Знаете, дети мои, откуда взят этот узор? Все старинные замки Франции обнесены точно такой оградой, и Тюильри, и Версаль.

Сторож вдруг почтительно срывает шапку.

Какая-то фигура выходит из нижнего этажа палаца и идет медленно, как призрак, по цветнику, залитому вечерней зарей.

Они видят перед собой странное, мертвенно-бледное лицо с темной, курчавой, длинной, как у Моисея бородой. Седина сверкает в ней серебряными нитями как и на курчавых висках. На голове бархатная шапочка. Бескровные руки опираются на палку. Голова опущена. На высокой, костлявой и сутулой фигуре надет длинный черный сюртук, застегнутый

на глухо. На ногах туфли...

Есть что-то неживое, что-то бесстрастное и далекое во всей этой фигуре. Как будто это восковая кукла. Бесцельность чувствуется в этой походке.

– Бен-Акиба? – шепчет Маня.

– Хуже... Вечный жид...<sup>31</sup>

Маня не может объяснить себе, какое странное предчувствие охватывает ее. Эта черная фигура, бесстрастно движущаяся по залитому солнцем цветнику, под алыми лучами зари, среди этой сверкающей красоты. Какой жуткий контраст!

Вот он поравнялся с ними и поднял глаза. На мгновение, на одно только мгновение эти огромные, черные, – как бы бездонные глаза – без блеска и мысли – останавливаются на лице Мани. Но она вздрогнула. Она следит за этой черной фигурой, согбенной, как бы раздавленной незримым призраком горя, сидящим на ее плечах. Она уже видела эти глаза. Да! Да! Как это ни странно! Она уже видела их где-то...

– Кто это? – шепотом спрашивает Соня, садясь в коляску.

Когда экипаж поворачивается на липовый проспект, черный призрак медленно скользит по аллее. Голова опущена по-прежнему на грудь. Но сторож все еще стоит, вытянувшись. И мгновенно, как бы под палочкой волшебника, на дворе и близ служб смолкает и цепенеет многочисленная

---

<sup>31</sup> Аллюзия легендарных образов вечных скитальцев, «Вечный жид» или Агасфер был осужден на вечное скитание по миру за то, что отказал Христу в отдыхе по пути на Голгофу.

дворяня. И провожает призраком застывшим взглядом.

— Кто это? — повторяет Соня нервным напряженным шепотом.

— Это дядя молодого Штейнбаха. Брат его покойной матери. И племянник поразительно похож на него! Неправда ли, какая романтическая фигура?

— Дядюшка, но почему у него такие глаза? Почему он такой... Не живой, что ли? Вы заметили его походку? Он не такой, как мы.

— Немудрено... Это ты верно подметила. Вся семья его была убита в Одессе, в погроме. И он сошел с ума.

Маня бледнеет... Она старается что-то понять. Что-то вспомнить...

Черные крылья тоски опустились над ее душою. Всю дорогу обратно они молчат.

Маню с тех пор тянет к усадьбе Штейнбаха неодолимая сила.

Какая-нибудь верста, не больше, отделяет Лысогоры от Липовки. Там, где кончается лысогорский парк, канавой отделенный от большой дороги, стоит плетень. Во многих местах он уже обвалился. На углу видна старая, развалившаяся беседка. Плакучая береза опустила свои зеленые руки и почти закрыла в нее ход.

Маня любит из этой беседки глядеть на башени белого дома, на темные купы парка. Их разделяет ровная степь. Из бе-

седки виден также черный крест. Поэтому никто, ни господа, ни дворня, не ходят в эту сторону. И Маня чувствует, что это ее царство. Она не любит, чтоб даже Соня сюда заглядывала. Тут у нее коврик на мшистой скамье, табуретка для ног, книги... Любимые стихи Бодлера, Верлена, Альфреда де Мюссе в подлиннике<sup>32</sup>. Она взяла их из библиотеки дядюшки.

Все это остается на ночь.

В знойный день, когда воздух раскалился, дрожит и видимо для глаза струится, в этот час, когда весь дом после обеда погружается в сон, Маня сидит в своей беседке и мечтает.

Маня исхудала за одну неделю. Глаза стали больше и горят лихорадкой. Она влюблена...

Да, да! Как это ни странно! Если любовь – это мечты о другом день и ночь. Если любовь – это жажда слышать голос, видеть лицо, руки и движения. Если любовь – это жажда быть вместе и разорвать мрак, ревниво прячущий от нас чужую душу, – то это любовь... Впервые лицо незнакомца, ехавшего по дороге год назад, на закате солнца, лицо ангела с неумолимым взглядом – бледнеет и заслоняется другим лицом, породистым и тонким, с глазами поэта.

Мане надо теперь видеть Яна! Во что бы то ни стало! Надо говорить с ним! Она пойдет в Липовку, прямо в оранжерею.

---

<sup>32</sup> Вербицкая часто прибегает к перечислению фамилий поэтов, художников, актеров. Это – своеобразный культурный контекст эпохи или образа. Маня тут представлена новой интеллигенткой, увлекающейся символизмом.

И скажет...

Что она скажет?

А пока она сидит у креста, в проклятом месте, на опушке рощи. Отсюда ей видны крыши дворца и все, кто едет или идет в усадьбу. С книгой в руке она лежит на траве и внушает Яну, чтоб он вышел за ограду.

Все тихо. Только скрипят гуси, белыми пятнами раскидавшиеся в яре, по болоту. Ярко под солнцем сверкает поросшая айром вода ставка. Четко чернеет полусломанный крест на бледно-синем небе.

Маня так задумывается, что не слышит легких шагов в роще. Вдруг она оглядывается и вскрикивает.

Перед нею Ян.

– Я вас напугал? Простите! – говорит он, снимая фуражку и по-светски кланяясь.

Она садится и натягивает юбку на обнажившиеся. До колен ноги в черных чулках. Ярко горят ее щеки. Ее глаза похожи на звезды. И Ян захвачен этой красотой.

– Нет... Да... Я испугалась... Я ждала вас оттуда!

Она кивает на усадьбу.

– Вы меня ждали?

Безграничное удивление в дрогнувшем голосе Яна. Его глаза темнеют. И легкая краска обжигает скулы.

Теперь Маня не знает, куда деться от стыл Вдруг, с свойственной ей смелостью, она экспансивно смеется. И говорит, глядя Яну в глаза:

– Да... Я давно вас жду... Сядьте! Ян садится, улыбается.  
«Какая чудная, детская улыбка!...» – думает он.

Долгая пауза. Маня жадно и наивно рассматривает его лицо, руки, уши, губы. Он нравится ей. Весь! Он похож на хрупкого пастушка из севрского фарфора. Сначала он сконфужен ее любопытством. В том с той же улыбкой начинает разглядывать его лицо и фигуру.

Она хохочет... Смех ее звонкий, сверкающий, жизнерадостный.

«Она похожа на разбитую веслом волну в солнечный день. Когда каждая чешуйка искрится и сверкает золотом...» – думает Ян.

– Я жду... – говорит он тихонько. И в его голосе так много ласки, что Мане чудится, будто он коснулся ее щек.

– Я вас знаю! – говорит она торжественно.

– Я тоже вас знаю.

– Нет... Я не так... Я знаю вашу тайну!..

О, как хорошо, что ни один мускул не вздрагивает в его лице при этих словах ее!

– Вы – переодетый принц... ха!.. ха!.. И зову вас Ян...

Он продолжает улыбаться. Только глаза его щурятся и становятся холодными, как металл. Bravo! Другие побледнели бы, но не он. Он не может был как все!

– Ах! Я еще и другое знаю о вас... Совсем невероятное. Вы... атаман разбойников. И... живы только чудом...

Они молчат, глядя в зрачки друг другу.

Вдруг Маня обнимает колени руками. Кладет на них голову и умоляюще, с погасшей душой говорит, как провинившееся дитя:

– Не сердитесь на меня! Я подслушала это нечаянно... Измаил говорил с Розой, и я не все поняла. Но когда услышала ваше имя... я уже не могла не слушать... Но вы не бойтесь! Я умею молчать. Ни в детстве, ни теперь, в гимназии – никто не знал, о чем я мечтаю. И чего хочу... Вы не сердитесь? Вы не сердитесь?

Она протягивает руку. Ян с прежней улыбкой дает ей свою.

«О, какое чудное прикосновение!.. – думает она.

– Будем знакомы... Хотите? – спрашивает она горячими звуками. – Приходите сюда каждый день!.. Я буду вас ждать... Да? Ах, если б вы знали, как я мечтала о встрече с вами! Какое счастье, что вы пришли! Но это все равно! Если б нынче вы не пришли сюда, завтра я пошла бы сама в оранжерею. Ну, сядьте!.. Ближе!.. Что вы так смотрите на меня, Ян? Ах, да! Можно ли вас так звать?

– Наедине, – говорит он, улыбаясь.

Ее рука, обнаженная выше локтя, в кисейном рукаве, худенькая и смуглая девичья рука бессознательно тянется к нему. И он также бессознательно, повинаясь неодолимому обаянию, берет эту руку, держит в своей. И тихо пожимает ее.

Из груди Мани вырывается счастливый вздох.



Любовь пришла внезапно, как весенняя гроза. Сейчас один беглый взгляд, одно робкое прикосновение Дают больше счастья, чем даст впоследствии целая Жизнь с бурной гаммой ее ощущений. И этих минут мне забыть никогда!

– А вы разве меня знаете? – вдруг спрашивает Маня. – Знаете?

– Знаю, – шепотом отвечает он. – Кто же я? Кто?

– Вы? Сказка...

Она смеется с восторгом.

– Я знал вас еще в детстве, когда читал Андерсена. Я и теперь люблю его читать.

– Я тоже... Помните сказку о Русалке? Вы похожи на того переодетого принца.

– У меня нет его жестокости. Я не мог бы разбить сердце Русалки.

– Как? Разве вы не жестокий? Нет?

– Нет...

Маня немножко разочарована.

– А как же? Да... Как же это Измаил говорит, что вас ждет виселица? За что же это? Значит, вы убивали людей?

– Я убивал по необходимости. Защищаясь. Как убивают во всякой борьбе...

Маня вздыхает с удовлетворением.

– А много людей вы убили? Много? Ян улыбается.

– Нет, в самом деле. Сколько?

– Какое вы дитя! Я не считал Маня довольна. Перед нею

настоящий преступник Без фальсификации.

– Вот Измаил жестокий! И я не люблю его... – говорит она без всякой логики. – Бедная Роза! – Это она уже думает вслух и отвечать ей не обязательно.

Они долго молчат, глазами лаская друг друга. Улыбаясь доверчиво и радостно. Кругом глубокая тишина, какая бывает только в степи. Иногда только донесется наверх всплеск воды и крик гусей.

– Как хорошо! – срывается у Мани.

– Сколько вам лет? – спрашивает он, все не выпуская ее руки.

– Скоро минет восемнадцать... Через год я кончу курс... И приеду сюда... Вы будете здесь через год? Будете?

– Не знаю...

Его лицо печально. И сердце Мани сжимается.

– У вас есть мать, Ян? – тихонько спрашивает она.

– Есть. Грусть звучит в его голосе! О, какая грусть!

– Вы любите ее? Да?

– Я дал ей много страданий. И она не верит в мою любовь.

Где-то на церковной колокольне бьют часы. Тягуче плывут звука.

Ян встает. У него уже другое лицо, другие глаза. Робко целует он руку Мани. А у нее дух занимается от счастья.

– Нам надо расстаться, Мария... Мария...

– Нет... Нет!.. Зовите меня Маней!

– Сюда сейчас придет Измаил. Я не хочу, чтоб он вас

видел! Вы пройдете вот этой тропой. Пойдемте, я покажу вам...

– А вы придете завтра? Придете? Непременно? Когда?

– В это время, – мягко отвечает он. Взявшись за руки, они идут.

– До свиданья, Маня! – говорит он.

– До завтра, Ян! До завтра!

О, какая чудная жизнь! Это сны наяву.

Они вместе каждый день, с двух до четырех. Тайна сближает их. Маня держит слово. Даже Соня не может понять, чем полна ее душа и ее дни? Почему так изменилось выражение ее лица?

Они теперь сидят рядом, плечо к плечу. И постоянно говорят о литературе. Ян приносит книги и читает вслух. Ян читает очень своеобразно, скандируя слова. Как-то ритмично и однообразно. Но получается впечатление чего-то нереального. Далекого и полного печали. И Маня это ценит.

Ян любит только модернистов. А из поэтов Брюсова и Блока. Все это ново для Мани. Она теперь читает «Перевал», «Золотое Руно»<sup>33</sup>. И ей, как Яну, другие журналы кажутся скучными.

– А вы читали «Санина»<sup>34</sup>? – спрашивает она раз, преры-

---

<sup>33</sup> «Перевал», «Золотое Руно» – литературно-художественные журналы символистского толка, которыми зачитывалась интеллигенция в начале XX века.

<sup>34</sup> Роман М. Арцыбашева «Санин» напечатан в 1907 г. в ж. «Современный мир». Автор обвинялся в аморализме и порнографии.

вая чтение.

– О, да. С огромным интересом. А вы?

– Тоже читаем потихоньку. Здесь выписывают этот журнал. К счастью, большие не добрались еще до этого романа. Им летом некогда читать. А дядюшка интересуется только классиками. Знаете, Я ненавижу Санина! Какое он животное!

– В этой книге, Маня, я вижу яркий протес! против закаменевших моральных ценностей. И, как таковой, этот роман имеет общественное значение.

– Какая странная эта Соня! Спорит, будто Сани! уважал женщин!

– Это правда. Здесь больше сказано в защит! личности, чем во всей западно-европейской литературе. Ваша Соня меня интересует...

– Можно сесть так? – один раз спрашивает Маня. И кладет ему голову на плечо.

Ян робко обнимает ее. И она явственно слышна как стучит его сердце.

Книга лежит, забытая на траве. А они, закрыв глаза, слушают свою душу.

Один раз Маня кладет руку на «Золотое Руно». Это значит: довольно читать!

– Мне хочется вас спросить... – шепчет она.

– Спрашивайте!

– Вы любили кого-нибудь, Ян? Вы любили когда-нибудь

так, как Фальк любил женщин?

– Нет, – звучит твердый и нежный голос. Никогда!

– Ах! Как это хорошо! Я это чувствовала... Вы не такой, как он... Какое счастье! Ян... Поцелуйте меня!

Она сама в непреодолимом порыве обхватывает его шею худенькими руками. И, закрыв глаза, подставляет ему лицо.

Он нежно целует ее щеку... Но как ни робко это прикосновение, оно обжигает ее. С криком она падает ничком в траву. И слезы счастья бегут из ее глаз.

– Маня... Милая Маня! Я... разочаровал вас? – испуганно спрашивает он.

Его тонкие брови изогнулись в горестном изломе. Он сильно старается повернуть к себе ее лицо.

– Нет! Нет! Я люблю вас, Ян! О, я люблю вас! – говорит она. И с беззаветной страстью, наивной и примитивной, как песня птицы, прижимается к его груди.

Маня говорит:

– Вы любите Гамсуна?

– Очень...

– Знаете, Ян? Когда я прочла «Пана», мне не хотелось жить. Какое животное этот Глан<sup>35</sup>!

– Почему?

– Если он любит девушку, зачем он целует и зовет к себе эту Эву, жену кузнеца? Разве можно любить двух в одно и то же время? Он даже хуже Санина. Тот действительно никого

---

<sup>35</sup> Герой романа К. Гамсуна «Пан».

не любил. Ян... Ох! Мне страшно... Я сейчас задам один вопрос. Дайте руку! Слышите, как бьется мое сердце?

– Я жду, – глухо говорит он.

И глаза его загораются.

– Ян... Неужели *все* вы... такие, как Глан?

– Нет, Маня. Не все.

– Ах, Ян! Милый Ян!.. Как хорошо!.. Моя душа была так отравлена! Что может быть хуже сомнений! Я с детства мечтала о вечной любви... Я плакала над стихами о Тоггенбурге. Я обожаю Данте за его чувство к Беатриче... И вдруг Глан, Фальк. Эта противная Карсавина, которую берут, как вещь, и она не возмущается, не протестует? Любя другого! Другого, Ян! Я чувствовала, что меня окунули в грязь... Если *это* любовь, то жить не стоит!

Он долго молчит, задумавшись. И тонкие брови его сдвинуты. И так много значения в этом лице и в этом молчании, что сердце Мани падает от предчувствия.

– Слушайте меня внимательно, Маня! Человечество заблудилось в густом тумане. Оно так привыкло к сумраку, что боится солнца. Оно трусливо прячется в стенах храма, затхлого и мрачного. И по инерции молится старым богам, и вот рождаются великие художники. Часто бессознательно, одним образом они свергают кумиров. Они разрушают стены старого храма... И вот вы уже видите там, вверху, клочок голубого неба! Да, Маня... Их заслуга в том, что они смело рвут туман, в котором блуждают наши души, и кричат нам; «Вот

солнце! Глядите!.. Пусть ваши очи слепнут от боли! Все же имейте мужество жить с открытыми глазами!..» Да... Зачастую, сам не ведая, художник одной яркой книгой разрушает законы ходячей морали вернее, чем философы и социологи. Он говорит с толпой...

Ян тихонько целует руку Мани. Ее огромные, тревожные глаза глядят ему в душу. Ее собственная душа раскрыта перед ним, как свежая чаша цветка.

– Мы переживаем странную эпоху освобождения плоти. Это заря идущего дня. Это несомненно революционное движение. Высоко поднялась волна мятежного духа. Пусть на волне вскипает гребень пены! Пусть все уродливое и фальшивое ринулось за высокой идеей и хватается за ее знамя! Пена исчезнет. Уродливое отпадет. И упавшая волна вынесет на берег светлый жемчуг. Не все, Маня, поступают, как Глан... Но разница лишь в темпераменте и мирозерцании. Инстинкты одинаковы. И инстинкты не лгут. И... приготовьтесь к удару, моя маленькая Маня! Вечной любви нет...

– О, Ян!.. Зачем? Зачем?

– Ее нет, если любовь понимать как страсть, как желание. Недаром греки изображали Эроса крылатым. Глубокий смысл в этом мифе... Привязанность остается. Страсть уходит. Наши желания священны, но у них нет *завтра*... Любовь, потеряв желания, может жить годы, может жить вечно, эволюционируя и изменяясь. Но то, что давало ей краски, исчезает, повинувшись загадочным, неуловимым законам. Глан

любит одну, желает другую, и в этом нет ни измены, ни пошлости, ни грязи. Жизнь, Маня, может поставить перед вами ту же дилемму. И если вы будете правдивы и смелы, вы поступите так же.

– Нет! Нет! Что вы говорите, Ян?

– Откройте глаза, Маня! Глядите вверх! В вас говорит сейчас сектантка и рабыня, которой страшно даже имя свободы. Ах, если б у меня была дочь, как вы! Я устранил бы от нее всю современную сентиментальную и лживую литературу мещан. Я дал бы ей «Пана», «Homo Sapiens». Я дал бы ей Мопассана, Боккаччо и наивную литературу Средних веков. Одним ударом я отнял бы у нее все иллюзии в самом зародыше. И этим путем я повел бы ее к освобождению... Да, Маня, это тернистый путь! Но это единственный выход из рабства.

Он долго молчит. Она шепчет, заглядывая в его лицо.

– О чем вы думаете, Ян?

– Я чувствую влияние грядущей морали. Где-то дремлющих глубинах человеческого духа зарождается эта сила. Новый мир роет передо мною... Надо создать этот мир!

Уже близок август. Скоро надо возвращаться в Москву.

Каждый день, от двух до четырех, Маня видите с Яном в роще. Если идет дождь, она приходит в его комнату.

Они сидят рядом, обмениваясь нежными, робкими ласками. Он сдержан. Она экспансивна. Она первая целует его и просит обнять ее. И ему стоит огромного труда держать на



цепи стихийную страсть, толкающую его к этой девушке.

Они часто читают стихи. А еще чаще молчали, наслаждаясь собственными ощущениями.

– Я всю эту зиму буду мечтать о вас. Вы будете мне писать? Будете? Постарайтесь приехать в Москву. Приедете?

– Да. Непременно. Хотя климат Москвы мне вреден.

– Почему? Почему? Это не Петербург. Там сухо. Там солнце.

Ян молча улыбается...

Ян сияет. Штейнбах дал деньги. Теперь надо кое куда съездить, кое с кем повидаться. Но это потому потом... Когда уедет Маня. Теперь же дорога каждая минута.

Один раз, когда Маня выходит из комнаты Яна она лицом к лицу сталкивается с Зямой.

– Что надо здесь этой девчонке? – грубо спрашивает он Яна, когда тот возвращается, проведет свою даму.

Запавшие глаза Зямы сверкают мрачным огнем.

– Мария Сергеевна изучает со мной современную литературу.

Хриплый смех срывается у Зямы.

– Что ей литература? Взгляните на ее губы! На эти чувственные и грубые линии... На эту бея стыдную улыбку... Она – женщина... Какое дело женщине до творчества и души другого? Царство высших целей ей недоступно... Это самка, которая весной ищет свою пару!

Высоко поднимаются тонкие брови Яна. И пристален его

тихий взгляд.

– Вы как семит презираете женщину и видите в ней грех. Вам трудно побороть себя. Вам трудно дорасти до уважения к личности, Измаил. А ведь это фундамент будущего здания! Как же без него вы хотите строить?

– Я ничего не хочу строить! Я хочу только разрушать! Слышите, Ян? Только разрушать хочу я! Стройте вы! А я очищу вам место на земле. В этом мое призвание!

Диким вдохновением горит его лицо. И в это короткое мгновение, когда обнажается загадочная сущность души, это лицо становится прекрасным.

Но это только миг...

Он уже опять сидит, понурившись, и грызет ногти. Глаза его угрюмы.

– Когда эта девушка рядом со мною, – задумчиво говорит Ян, – вся моя душа вибрирует. Ее мышление – это яркий гимн жизни... В ней так много возможностей и обещаний! Советую вам взглянуть в ее глаза, Измаил! А потом... заметили ли. вы, что у нее капризные брови? И левая бровь выше правой?

Ян мечтательно улыбается, краснеет... И сам становится похож на девушку.

Зяма встает с потемневшим лицом.

– Эта девушка будет вашей гибелью, Ян! – говорит он, выходя.

– О, Ян! Как сияет ваше лицо! Какой вы новый нынче! Вы похожи на зарю.

– Поздравьте меня, Маня! Нынче великий день в моей жизни... Я кончил книгу.

– Вы пишете книгу?

– Я ее кончил. Я почти год жил ею, радуясь тишине и забвению. Я отдал ей лучшее, что есть в моей душе! Знаете ли вы, Маня, власть идей? Власть книги? Нет границ ее царству! Нет предела ее дерзновению. Я умру. Моя мысль будет жить. Я бросил семя в землю. И оно будет зреть в тиши, пока не пробьет его час. И даже смерть бессильна теперь прервать мою связь с миром! Я победил смерть...

Идет дождь. Маня сидит за столом в комнате Яна. Белоголовый босой Гриц подал самовар.

Он любит Яна, этот ребенок. И за это Маня любит его. Ян учит его грамоте и счету. Когда Ян идет по селу, ребята толпой кидаются к нему и просят рассказать сказки.

Зяму все боятся и ненавидят.

У Мани на висках и затылке кудри завились еще круче от сырости. Но нет румянца на щеках, и даже глаза потускнели.

Гриц выходит, подав хлеб и молоко.

– Моя фея плакала? – говорит Ян, прижимал к своей груди руки Мани. – Разве феи знают, чья такое слезы?

– Ах, Ян, мне тяжело! Я не спала эту ночь. Мы опять говорили с Соней о любви... И Соня думает и чувствует, как

я... Конечно, вы умный. Конечно, вы правы. Но... я не могу чувствовать иначе. Я жажду вечной и нераздельной любви. Я умру, если разочаруюсь... в вас, милый Ян. Если б я узнала, что сюда... приходит ночью... какая-нибудь красавица Ганна... Ах! Я никогда не встретила бы вас больше!

– Сюда никто не ходит, Маня... До встречи с вами женщины не имели места в моей жизни.

– Да? Да? О, Ян! Взгляните! Разве мои глаза на сияют опять? Точно камень падает с груди от вашей улыбки.

– Женщине трудно освободиться, Маня! – говорит он с грустью.

Но она не слушает. Она слишком полна собой. Прижавшись к его груди, она спрашивает шепотом:

– А что такое... разврат?

– Купля и продажа тела и ласки... Какую бы санкцию ни давало общество этой сделке...

– А измена, Ян?

– Есть только одна измена, Маня. Измена самому себе. Как есть только одна добродетель – не причинять другому зла. Но что такое зло? Если вы нынче разлюбите меня, а завтра полюбите другого, не считайтесь с моими страданиями! Это не будет зло по отношению ко мне. Отказавшись от своего влечения, вы совершаете зло по отношению к себе. Маня, все, что я вам говорю, это только азбука, которая должна бы стать ходячей истиной. Как то, что земля движется и что мы смертны. Но весь ужас в том, что, зная и чувствуя

эту истину, люди от нее отрекаются. Никто не смеет стать господином своей жизни! Люди бьются за власть, за деньги, за политические права, за захват земли. Женщины добиваются права на труд, голоса в парламенте. Никто не думает о том, чтоб стряхнуть цепи с своей души, чтоб сорвать путы с своей жизни. Тысячу лет жрецы ковали эти цепи, чтоб сделать рабом свободно рожденного человека. А вы, женщины, покорно целуете и любите ваши цепи. Маня... Хотите быть госпожой своей жизни?

– О, да, Ян! Научите меня! Я так хочу быть счастливой!

– Хорошо... Я дам вам ключи счастья... Оно лежит за семью замками. И бедное человечество давно потеряло к нему пути. Слушайте, Маня... Самое Ценное в нас – наши страсти, наши мечты. Жалок тот, кто отрекается от них! Из страха общественного мнения, то есть мнения людей, далеких и чуждых нам; из чувства долга перед близкими, из любви к Детям и семье – мы все топчем и уродуем наши души, вечно юные, вечно изменчивые, где звучат таинственные и зовущие голоса. Только эти голоса надо слушать. Только им надо верить. *Надо быть самим собой!* О, не думайте, что это тате просто! С первых шагов вашей жизни, завернув в пеленки ваше маленькое тельце, любящие люди уже кутают в пеленки и вашу пробуждающуюся душу. Индейцы уродуют новорожденному череп повязкой чтобы придать ему идеальную форму. Китайцы уродуют ступню женщин. Мы – культурные люди и проделываем то же с душой ребенка. С первых дня

железная рука ложится на вашу грудь. И до смертного часа вы не можете ее сбросить. Вы не смеете уйти от этой опеки. Все за вас рассчитано, предусмотрено, заранее решено и втиснуто в определенные рамки. Вам дано имя, выбрано училище, угадано призвание, навязаны убеждения, намечен путь... Это большая торная дорога. Это путь *всех*... И когда вы поняли себя, когда вы сами разгадали свое призвание, – поздно! Начинать снова нельзя! И вы апатично идете по проложенным тропинкам, фатально повторяя чужие ошибки. А когда оглянетесь внезапно, молодости нет. Силы исчезли. Такова жизнь».

– Ян! Это ужасно! Я не хочу такой жизни! Это рабство...

– Маленькая Маня, вы это почувствовали... Берегите же этот протест! Уважайте это возмущение! В нем все! Вот ключ к освобождению! Не поступайте своей мечтой и желанием ни из страха, ни из долга, ни из сострадания! Пусть камни летят в вашу голом за то, что вы имеете смелость говорить, чувствовать и поступать вне шаблона! Пусть грязью закидают ваше имя! Идите дорогой, которую вы выбрали! Не бойтесь быть одинокой! Пусть гибнет из-за любви к вам тот, кого вы разлюбите! Все равно, будет ли он носить название мужа или любовника! Идите дальше, следуя голосу крови. Пусть не дрогнет ваша душа от стыда или раскаяния! Помните, это все звенья старой цепи. Если вы утром целовали меня, а вечером желание толкнет вас в объятия другого, повинуйтесь вашему желанию! В этом вся правда жизни...

Помните главное: нет судьбы в этих вопросах. Ваше тело, ваши чувства, ваша жизнь принадлежат вам... вам одной... И вы властны сделать с ними что хотите. Вот вам мое завещание! Из вашей жизни сделайте поэму! Пусть она будет полна лиризма! Или же пусть, как стихи Данта, она будет гимном свободы! Сумейте ее красиво прожить! Поднимитесь на вершины, недоступные трусливым душам. И если медленный спуск в долину вам покажется унылым и долгим, не забывайте, что смерть в ваших руках. Мы все умираем, как жалкие животные, бессмысленно, случайно... Или после долгой болезни и агонии, с ужасом и тоской. А разве смерть – не дивная тайна, полная обещаний? Как хорошо уйти из мира добровольно, в зените жизни! С восторгом жертвуя ею высшей цели. Да, надо уметь жить красиво. Но еще важнее умереть прекрасно. Моя милая Маня! Какими большими, наивными глазами смотрите вы на меня! Ваша душа чиста, как душа ребенка или дикарки. Вас не успели развратить и изуродовать. Какое наслаждение сеять в этой душе! Поцелуйте меня, Маня! Я подарил вам клад.

– О, Ян! Если я буду поступать, как вы меня учите, буду ли я счастлива?

– Наверяд ли! Но есть цель выше, Маня... Вы будете свободны!

Они читают стихи Гиппиус:

Упырь меня тронул крылом своим влажным.

Я в лодке Харона плыву...

Ян вдруг смолкает, бледнеет и глядит в горячее небо, сияющее между дубовыми ветками.

«Что с вами?» – хочет спросить Маня. Но заглядывает в его лицо. И слова замирают на ее губах.

О, какое дивное, какое странное выражение!

Что видят там, высоко, между ветками, эти вдохновенные далекие глаза? Такие далекие от мира, как будто душа Яна слушает звуки небес. Как будто загадочные завесы пали перед его мыслью. И он постиг тайну, недоступную земле.

Она молчит благоговейно.

Вдруг топот лошади доносится снизу... Свист бича, крик мальчика.

Содрогнувшись, Ян вздыхает. О, как грустно.

– Где вы были, Ян? – шепотом спрашивав Маня.

Он глядит грустно... О, грустно!

– Я был за гранью мира...

Они читают опять. О смерти, о реке Стикс... Тенью и холодом веет от книги в душу Мани.

– Довольно! – говорит она. – Не надо о смерти... Жизнь так прекрасна!

Но и в ее голосе скользит и прячется тоска. В порыве Бог весть откуда налетевшей жалости она целует его глаза, его веки... Ей хочется плакать.

– Нынче ночью совы кричали в парке. И я не мог заснуть.



И... знаете, как странно! Моя сова билась крыльями о стекла. Она тоже не спала. Она рвалась на свободу. Я ее выпустил. Она улетела. И нынче утром она уже не вернулась.

— Ну, так что же? Ян... Отчего вы... такой... такое стран-  
ный?

— Ничего, Маняю. Не обращайтесь на меня внимания! Это пройдет... Это нервы...

Ян ждет Маню. Она что-то опоздала.

Он пришел без книги. Он выспался в эту ночь и чувствует себя бодрым и «гармоничным», как всегда. Ему совестно, что вчера он впал в малодушие и огорчил бедную девочку. Что значит нервы! Что значит вырождение!

О, как страстно ждет он ее, чтоб сказать ей, что он любит до безумия жизнь! Что он пламенно любит свою маленькую Маню.

Он сидит над кручей, обняв колени руками, и смотрит вниз, на дорогу. Ослепительно сияет солнце в небе и ослепительно отражается в ставке. Звонкие крики купающихся ребятишек доносятся снизу.

Какое нынче небо! Какой воздух! Откуда этот дивный, могучий прилив жизнерадостности и любви? Даже сердце трепещет от счастья! Трепещет до боли...

Хочется вскинуть руки к ласковому небу. Громко запеть. Поцеловать весь мир! Этого бедного Зяму, с его мятежной, трепетной душой... Скорее разрядить на что-нибудь эту на-

копившуюся энергию... Этот избыток радости и желаний...

Ян думает: «Обыватели не могут любить жизнь, как любим ее *мы*. Каждая радость в ней может быть последней. И это сознание повышает ценность жизни, необычайно обостряет жажду счастья... Ах, отчего она не идет!..»

Он весь обращается в ожидание.

Внизу раздаются испуганные крики и вопли:

– Ратуйте!.. Ратуйте!..

«Я не успел насладиться всем, что жизнь дает человеку, – думает он через мгновение. – Я был слишком односторонен. И не имел времени... Конечно, я был счастлив по-своему. Но это уродливо. Надо создавать себе красивую и гармоничную жизнь...»

«Через неделю Маня уедет...» Эта мысль вдруг пронзает его мозг и заполняет сознание.

А крики растут. Полуголые ребятишки мечутся на берегу... Кто-то бежит в село.

Ян встает. Точно сила какая-то подняла его с земли. Прикрыв ладонью брови, он всматривается в картину суеты. Губы его стиснуты. Взгляд холоден. Уже другой человек... «Ратуйте!..» – вспоминается ему вдруг не долетевший тогда до сознания крик. Его мускулы напрягаются и делаются стальными.

«Кто-то тонет...»

Он бежит вниз.

Маня спешит на свидание! Какая обида! Пришли соседи и задержали с обедом. Она сидела, как на иголках, все время.

У ставка она останавливается, неприятно пораженная.

Какая толпа! Зачем это? Люди нелепо галдят взмахивая руками. Все глядят на воду... Гуси, встревоженные в своем одиночестве, обиженно переговариваются скрипучими голосами и толпятся на береги за болотом. «Ах... ах... ах... ах!...» – кричат утки, хлопая крыльями.

Какая-то баба воеет, лежа ничком на земле.

Маня останавливается внезапно.

– Что такое? – спрашивает она.

И зрочки ее разливаются.

– Утонули двое... Найти не могут...

– Где утонули? Здесь? Когда же?

– Сейчас... Хведько Одаркин и Миколай Сергеич.

Маня не вслушалась... Перекрестившись невольно, она бежит дальше... Боже мой, как она запоздала!

Она поднимается в рощу.

Как странно! Яна нет!

Почему его нет?

Сверху она глядит на толпу в яре. На неподвижную, сияющую воду ставка. Потом идет в усадьбу. Медленно, выжидая...

Когда она подходит к флигелю, навстречу ей бежит доктор. Он без шапки. За ним сторож.

Люди мечутся по двору и кричат, размахивая руками. По-

том тоже бегут в степь, за ограду.

Далеко где-то звучат крики.

Она отворяет незапертую дверь и входит в комнату.

– Ян? – шепчет она, вытягивая шейку. Все пусто.

Сова глядит на нее желтыми глазами.

– Ах, она вернулась! Милая! – говорит Маня. Она гладит сову, потом берет ее к себе на плечо.

Минуты бегут... Который же это час? Она встает, оглядываясь. Книга на тумбочке у постели лежит, раскрытая. Ах, это те же стихи.

Упырь меня тронул крылом своим влажным...

И вдруг вспоминается вчерашний разговор. И в сердце крадется холод. «Там утонули дети...»

Тоска растет, как тень на поле, когда ветер гонит грозовую тучу. А она ползет, поглощая свет лохматыми лапами.

«Может быть, он уже там? Какое безумие сидеть здесь и ждать!...»

Она спешит в рощу.

Но и там его нет.

А внизу толпа все стоит.

И вдруг инстинкт толкает ее вниз. Она спешит к пруду. Но сознание еще дремлет. «Упырь меня тронул...» – звучит в ее ушах...

Эта толпа, бестолково галдевшая и метавшаяся полчаса

назад, теперь угрюма и молчалива. И это страшно...

Но сознание еще дремлет.

Вдруг она видит лодку. А в лодке Искру и еще кого-то.

Ах, это Зяма! Но какой страшный! Волосы всклокочены. Разом провалились щеки. Глаза сумасшедшего...

Они плывут на середину пруда и погружают багры в дрогнувшую воду... Сердце Мани толкнулось в груди, словно спрашивает: «Поняла?...» Но мозг ее не может принять этого ужаса. Ее мозг протестует против жестокости и бессмыслицы совершившегося.

— Что?... Что?... — вдруг потеряв дыхание, одними глазами, одним движением губ спрашивает она парубка. И хватается за рукав.

— Утонули... — отвечает он бесстрастно.

Но теперь она даже не спрашивает кто. Все освещается разом...

Она кричит, как человек, сорвавшийся с крыши. И падает ничком...

О, эта сцена в часовне! Как долго будет помнить ее Соня!

Как часто этот крик Мани, когда она увидела два трупа, — этот истерический крик, полный мистического ужаса, будет звенеть в ушах Сони, будя ее ночью, разбивая ее нервы!

Ян словно спит и улыбается... Прекрасно его лицо. И загадочна улыбка. В белом грубом саване, как и маленький покойник, сгубивший его; в саване, сшитом наскоро неумелой

рукой; с ступнями, обернутыми в белый коленкор, покорно сложив на груди руки, он лежит на столе, под образом, в полумраке. И красные блики лампадки трепещут на его ресницах и бровях.

Кажется, вот-вот дрогнут веки и поднимутся.

Кто-то глухо рыдает в углу... Какие раздирающие звуки!

Это Зяма... Спрятав лицо в руках, судорожно передергивая плечами, никого не видя и не слыша кругом, он плачет так, словно погасло солнце и в вечной ночи утонул гибнущий мир.

Но Маня не плачет. Вытянув шею, уцепившись за руку Сони, застыв на месте, широко открытыми глазами она глядит на мертвеца... И дрожь сотрясает все ее тело.

*Этот* там, с восковым лицом – не Ян.

Не ее Ян, который вчера целовал ее волосы, чье сердце билось под ее рукой. Вчера он улыбался ей, как дитя. И, провозжая ее, шепнул: «До завтра!..»

И это *завтра* никогда не придет? Никогда?

Да где же он? Где его улыбка? Блеск глаз? Биение сердца? Его любовь?

Соня тихонько плачет. Она подходит к столу и робко целует тонкую восковую руку.

Маня дрожит все сильнее и отодвигается дальше, цепляясь за рукав дядюшки.

Вдруг растворяется дверь часовни. Все расступаются.

Высокая согбенная фигура, в черном длинном сюртуке,

на сидящих кудрях – бархатная шапочка, останавливается на пороге. Бездонные зрачки немигающих глаз скользят по лицам живых. Потом замирают на профиле Яна.

Тихо и глухо стукнуло сердце Мани. И бесконечным кажется ей мгновение.

Вдруг мысль зажигается в бездонных зрачках. Бескровное лицо вздрагивает. Он подходит беззвучно, и торжественно кладет руку на голову покойника.

Маня вскрикивает в неопишемом ужасе и кидается к дя-дюшке.

– Уйдем... Уйдем!..

Ее страх как будто заражает присутствующих. Бестолково толкаясь и суется, все поспешно покидают часовню.

У ложа мертвого остается одинокий старик с угасшей душой.

Оба молчат.

Но им обоим все ясно.

О, зачем опять пробуждение? Вставать, одеваться, Двигаться, говорить?

Яна нет... Ян исчез...

Куда?

– Соня... Милая... Закрой ставни! Я не хочу жить. Зачем ты меня разбудила? Какой ужас – жизнь! Какой ужас!

Его похоронили рядом с маленьким Хведько, в пар-

ке Штейнбаха. Таково были желание хозяина, которого известили телеграммой. Похороны были торжественными. Штейнбах приехал из Москвы, бросив все дела. И это глубоко поразило обывателей. Все цветы из сада и оранжерей легли на грудь того, кто так любил их.

Дядюшка и Вера Филипповна поехали в церковь Соня осталась с Маней. Ее ведь нельзя ни на минуту оставить одну. Ужас потряс всю ее нервную систему. Ни днем, ни ночью она не спит.

Дядюшка съездил в имение Штейнбаха и предложил фельдшерице подежурить ночью у постели Мани.

– Скажите откровенно, Лидия Яковлевна. Вы не очень тяготитесь этими дежурствами?

– Мы мешаем ей спать, – в первый раз сухим шепотом сказала она, взглянув на Маню.

Та неожиданно открыла глаза.

– Нет, пожалуйста!.. Мне лучше, когда вы говорите.

Теперь они не стесняются. Они читают вслух журналы, спорят.

– Здесь слишком хорошо, – говорит Лика со странной интонацией. И передергивает узенькими плечиками. – Когда вспомнишь все пережитое, особенно тюрьму...

– Тюрьму? – Дядюшка хватается ее руки. – Вы были в тюрьме? За что вы были в тюрьме? Это не секрет?

– Ничуть... Об этом в газетах писали. Я принадлежу к



партии эсеров. Была ответственным агитатором. Впрочем, это не доказано. А иначе Штейнбаху не удалось бы спасти меня от ссылки в Нарымский край.

– Штейнбах? Откуда он знал вас?

– Мы с Розой были в тюрьме в одной камере. Мать Розы просила Штейнбаха за дочь, когда старик умирал. А сын приехал его навестить. Штейнбах-сын пустил в ход все связи, и Розу выпустили на поруки сюда. И Зяму тоже. Штейнбах его защищал. Он же взялся и за мое дело. И в результате я свободна...

– Так, – с безграничным удивлением срывается у дядюшки. – Но сюда-то вы как попали, милая Лидия Яковлевна?

– Очень просто. Мне и... моей семье грозила голодная смерть... если я не достану места. А вы понимаете, что после тюрьмы ни одно земство не согласится взять меня на службу. Я пришла к Штейнбаху в Москве...

– Разве он так доступен?

– Не знаю, право. К нему все идут. И с двух слов он понял, что мне нужно. Место чудное, это правда. Шестьсот рублей в год. Квартира, отопление, прислуга – все готовое. И работы так много! Интересной работы...

...И вот девочки едут в Москву. С ними дядюшка. Он рад встряхнуться в столице. Помахивая тросточкой и слегка прихрамывая, ходит он по дебаркадеру.

Солнце заливает маленькую станцию. Но под могучими

тополями в садике тень. Девочки сидят на скамье, поджидая поезда, и глядят в далекую степь.

– Штейнбах! – вдруг говорит дядюшка и, чуть волоча ногу, подходит к скамейке.

– Где? Где? – Соня вскакивает.

– Сейчас подъехал в ландо. С нами в одной поезде едет.

– Маня, Маня, очнись же! Пойдем скорее!

– Дети мои! Берегите ваши сердца! Настоящие царь Со-  
ломон.

Соня радостно смеется.

Вот он... Начальник станции, почтительно склонившись, объясняет ему что-то. Сторожа и буфетчики вытянулись у входа на станцию.

Он слушает. И как будто не слышит. И думает о чем-то своем.

Какой он высокий! На нем темный плащ и панама с живописно изогнутыми линиями. Маня видит его гордый профиль, матово-бледную кожу цвета слоновой кости. И острую, черную, модную бородку, как у дядюшки.

Он рассеянно шурится в золотую даль, откуда должен прийти поезд.

– Какая красота! – шепчет Соня, сжимая до боли руку Мани.

«На кого он похож? – думает та. – Где я его видела? На картине?... Во сне?... В толпе, на улице?..»

Вот он повернулся, и Маня замерла, полуоткрыв рот.

Да, у него царственная внешность. Но в чем его обаяние? – Смотри, какие брови! – шепчет Соня.

Ну да, конечно... Это и есть самое поразительное в его лице. То, что дает ему значение, индивидуальность. То, что дает ему душу. Почти сливаясь в одну линию на переносице, широким, смелым взмахом раскинулись брови на бледном лбу. Как будто невидимая рука провела на этом лице загадочную арабески И в ней скрыта неясная угроза.

«Роковая красота...» – думает Маня.

Дядюшка подходит, ковыляя, взволнованный. Ему обидно, что Штейнбах не узнал его. А кланяться первому не хочется.

– Рембрандт! Не правда ли? – говорит он девушкам, стараясь быть развязным.

– О! Я с ума сошла! – как во сне говорит Соня. И хватается себя со смехом за лицо.

Поезд мчится...

На всех больших станциях, где поезд стоит восемь минут, Соня торопливо выходит на дебаркадер<sup>36</sup>. За нею Маня и дядюшка. Соня ищет глазами вагон 1-го класса.

Если б он вышел погулять!

Нет, он не показывается.

Вечером – когда всходит красная огромная луна на горизонте и ветер поднимается в стели после заката солнца – поезд стоит у какой-то большой станции с электричеством и бу-

---

<sup>36</sup> Платформу (устар.).

фетом. Огромная толпа местных жителей пришла из городка взглянуть на курьерский поезд. Молодежь флиртует. Барышни звонко смеются. Малороссийский говор звучит как музыка для уха Мани. Она стоит рядом с Соней. Та словно ворожит, прислонясь к стене, не сводя глаз с окон вагона, внушая Штейнбаху выйти.

Наконец-то!.. Медленно, лениво спускается он со ступеней и бесцельно идет среди толпы.

Взгляды восторга, удивленные возгласы и шепот провожают его. Перед ним расступаются. Останавливаются. Глядят ему вслед.

«Какое холодное лицо! Какие усталые движения! Такой человек не может быть счастливым, – думает Маня. – Нэ почему он несчастлив? Так богат? Так красив?»

И в душе ее разгорается любопытство. Проникнуть бы в тайну этого равнодушия... этой усталости! Ах!.. И подумать только, что все это недоступно! Такая Неизмеримая пропасть разделяет их! Как будто перед нею житель другого мира!

Чувство обиды и отчужденности сжимает сердце Мани. – Пойдем за ним! – шепчет Соня. – Мне хочется разглядеть и понять выражение его глаз.

Там, где кончается белый свет электричества! станция кажется другим миром. Темно и загадочно под тополями садика. Опять веет степью, безлюдной и тишиной пустыни. Дивным одиночеством... Вон луна подымается, багровая и жут-

кая, из сизой мари, залегшей на горизонте. И у нее еще нет лучей.

Девушки замедляют шаги. Беззвучно крадутся они за высокой фигурой. Здесь тихо. Паровоз остался позади...

Штейнбах остановился и смотрит на луну.

«Да, смотрит... Но видит ли? – думает Маня! жадно вглядываясь в этот профиль – О чем думает он? О чем тоскует?...»

Штейнбах неподвижен, как темное изваяние.

«Теперь понимаю. Он влюблен, – думает Маня. – И влюблен безнадежно... Иначе о чем бы ему грустить? Но хотела бы я видеть женщину, которая его пленила! Какая она? Высокая? Темноглазая? Брюнетка? Нет... Скорее блондинка... И замужем за другим...»

И Маня рада, что он страдает, что его отвергли. Это дает ей какое-то странное удовлетворение.

Второй звонок. Девочки вскрикивают и бегут со смехом, сконфуженные тем, что Штейнбах оглянулся.

Уже поздно ночью, когда дядюшка велит поднята постели в их купе, они выходят на большой станции: с буфетом – купить открытки. Втайне обе надеются еще раз увидеть Штейнбаха...

Какое счастье! Вот и он стоит у киоска с книгами и рассеянно смотрит заглавия. Продавщица, наивно? открыв рот, глядит на его брови.

Соня толкает Маню. И обе замерли в нескольких шагах.

Но забыты приличия... Забыты гордость и стыд... Хочется наглядеться на этот профиль, на эти трагически сросшиеся, точно нарисованные брови, на эту экзотическую, матовую кожу.

«Какие дивные руки!...» – думает Маня.

– Вам что угодно? – спрашивает продавщица, вдруг замечая девушек.

В эту минуту Штейнбах оглядывается. Его взор, бесстрастный и усталый, равнодушно скользит по юным девичьим лицам.

Но Маня вздрагивает всем телом.

– Я беру это, – говорит он, указывая на книгу. И уходит, расплатившись.

Второй звонок. Ничего не купив, девушки бегут из залы.

В дверях они почти толкают Штейнбаха. Плащ его задевает Манию по плечу.

– Извините! – говорит он. И опять его взгляд на мгновение останавливается на ее лице. Так мимолетно... Так поверхностно...

Но кровь кидается в лицо Мани. И она бежит с затуманенной головой. Вся трепещущая от странного, нового и сладкого до боли чувства.

– Ты видела? У него в глазах нет дна! – говорит Маня, задыхаясь, когда поезд трогается и ныряет в черную ночь. – Вот совсем как у этого мрака... Какой жуткий!

Соня блаженно улыбается. Они долго молчат. Когда уже

дядюшка всхрапывает слегка и спит толстая дама соседка, девушки наверху еще говорят.

– Я хочу его видеть у нас, – шепчет Соня. – Пусть мама познакомится и позовет его!

– Не надо! Не стоит унижаться! Не зови его! Зачем? Что общего между им и вами? – вдруг страстно перебивает Маня.

– Что такое? Ничего не понимаю! – сердится Соня.

– Ах, Боже мой!.. Как у тебя мало чутья! Ты видела, как он взглянул на нас? Я так гляжу мух... Да, да! На мух... на букашек, которых топчу ногой, не замечая... Мы для него не люди, а те же мухи.

И, задыхаясь от ненависти, она падает на подушки лицом вниз. Она готова плакать.

Но Соня улыбается в полумраке.

Наконец-то! Вот она, прежняя Маня! Проснулася Страхнула с души это страшное оцепенение. Смеется сердится...

«Спасибо тебе, милый, чудный Штейнбах!..»

Уже два часа. Они не спят. Стоя в коридора глядят в черную ночь. То тут, то там полыхает неба То тут, то там зловещий алый свет разрывает тьму южной ночи. Словно смутное, далекое обещание.

Вечерняя ли заря забылась на небе и медлит погаснуть? Зарево ли это луны?

– Пожары, – говорит Соня. – Это горят помещичьи усадь-

бы.

И в глубоких глазах Сони – сосредоточенная дума.  
– Какая красота! – ахает Маня, бегая от окна к окну. – Ах, какая красота!..

Молодость и жизнь берут свое... Молодость и жизнь побеждают печаль.

Лицо Яна глядит на Маню как бы из густого тумана. И он уже не снится ей по ночам.

Забыт и всадник с гордым профилем, которого сама не зная, она так долго и пламенно любила все эти годы.

Читая романы, она в каждом герое видит теперь черты Штейнбаха. Его брови. Его глаза... Она грезит о нем. И эти грезы знойны. Это не те светлые, пронизанные солнцем мечты, что прилетали к ней когда-то. Ласковые и освежавшие, как ветерок в степи. Эти грезы отравляют. Она мучительно ждет ласки. Она мечтает о поцелуях и близости к кому-то, похожему на Штейнбаха.

Но не к нему. Нет! Она ненавидит его за равнодушие, за недоступность. Как часто, закрыв глаза, она представляет себя нежной блондинкой! Маленькой и хрупкой, которую любит Штейнбах. Она видит его страдающим, униженным у своих ног. И Маня хохочет презрительно и звонко.

Но часто слезы бегут из ее глаз. О, как мучительно хочется быть опять в объятиях Яна! Целовать его пушистые щеки, его гордые губы. Зачем она так мало, так робко ласкалась к



нему? Зачем не излила на него вею нежность, которая горит в ее душе?

Она рыдает по ночам...

А во сне она видит Штейнбаха.

— Мы вместе поступим на высшие курсы, — твердо и важно говорит Соня.

— Кур-сы? — спрашивает Маня.

Она стоит, закинув руки за голову и глядя вдаль полузакрытыми глазами.

— Я поступлю на медицинский, а ты на исторический... С твоими способностями ты выступишься сразу.

— Исто-ри-ческий? — как во сне переспрашивает Маня.

Соня сердится.

— Ну, да!.. Что ты, как попугай, повторяешь слова? Опять размечталась? Фу ты, Господи!.. Какая невозможная голова!

Маня тянется всем телом, с какой-то истомой. Улыбка раскрывает ее губы.

— Нет! — вдруг твердо и сознательно говорит она, опуская руки и глядя на подругу. — Я не хочу Учиться! Надоело...

— Вот те раз!.. А чего ж ты хочешь?

Маня долго молчит, глядя вдаль.

— Я хочу... жить...

И в это коротенькое слово она вкладывает столько значения! Такими таинственными обещаниями веет от ее голоса и лица, что Соня мгновенно смолкав задумывается и... вспоминает Штейнбаха.

Маня «от скуки» учится запоем. И шутя становится третьей ученицей. Соня кончает на золотую медаль.

Два раза в неделю то Аня, то Петя навещая сестренку. И для всех это праздник. Как хорошо быть любимой, быть всем для людей! Маня не знает, кого она любит больше: родных или милую фрау Кеслер.

20 мая Анна Сергеевна уезжает с утра, взволнованная и принаряженная. А возвращается только к вечеру.

Ей отпирает брат. Он ждал ее, сидя в сумерки у открытого окна.

– Ну?... Ну что же? – отрывисто спрашивает он. – Расскажи по порядку, – говорит он ласково.

Анна Сергеевна рассказывает... Она поспела к началу молебна. Как это было торжественно! Все в белом, в собственных платьях... Маня лучше всех. Боже мой, какая она прелестная! Какой румянец! Какой блеск в глазах!

Петр Сергеевич добродушно смеется и становится похож на старичка. Да, глаза у Мани хороши... *Ее* глаза. Оба задумываются.

– И веселая она нынче? – спрашивает он наконец, подавляя вздох.

– Ах, удивительно!.. Просто – птичка... Все время смеется... Эти ямочки на щеках...

– Как у *нее!* – задумчиво говорит он.

– Удивительно похожа! Помнишь? На тот портрет, в балльном платье?

– Ну что ты? Куда ей... А рот? А нос? Нет! Ей далеко до матери! – с гордостью говорит Петр Сергеевич.

– Итак, она опять к Горленко едет? Прекрасно... Ты, конечно, нынче ей ничего не сказала? – вдруг шепотом спрашивает он.

– Ничего... Не могла, Петя Это выше моих сил. Скажи ей сам.

– Да, да, конечно. Я бы давно сказал...

– Нет, Петя... Надо осторожно. За что было ей испортить первый день свободы? Ее лучший день?

– В письме этого не скажешь... Теперь до осени, значит? – И в голосе его звучит облегчение.

– Да. Вообще, чем позже она узнает, тем лучше! Надо исподволь подходить с такими жестокими разоблачениями...

Выходит долгая-долгая и грустная пауза.

– Она обещала писать? Анна Сергеевна молчит.

– Как ты думаешь, Аня? Любит ли она нас хоть немножко? Вот она даже не огорчилась, что нельзя сюда приехать... нельзя видеть мать. А может быть, ей этого хотелось?

Робкой надеждой дрожит его голос. Он тщетно Ждет ответа. Заглядывает в бледное, измученное лицо сестры.

Она спит.

...Что мне шумит?... Что мне звенит рано пред зарею?..

– Ах! Это ты, Ян? Как ты пришел сюда? Все двери закрыты...

– Я влетел в окно... Здравствуй, маленькая Маня! Темноглазая моя фея! Дай я поцелую твои глазки!..

– О, рай какой, Ян! Как я давно ждала тебя! Душа моя состарилась от тоски... Я твоя, Ян... Целуй меня страстно! Обними меня крепко!.. Унеси меня с собою за грани этого мира... За те грани, куда глядели твои очи в тот день... Помнишь? «Упырь меня тронул крылом своим влажным...» Ян! Куда ты?.. Не уходи-и!..

...

Она так кричит, что этот крик ее будит. Она поднимается, озираясь. Алая заря глядит в окно розовой комнатки. Птицы щебечут в саду.

Подушка ее залита слезами.

Она в парке, на могиле Яна.

Опять нахлынуло прошлое. И затопила ее душа высоко поднявшаяся волна печали.

Какое чудное место! Под каштанами на зелени лужайке два могильные холма. Большой и маленький... Чудные розы, лучшие розы сияют вокруг праха того, кто их любил когда-то.

На мраморной плите нет ни имени, ни молитвы.

Только крупная надпись золотом:

РЫЦАРЮ ДУХА

А внизу помельче:

Я люблю того,  
Кто строит высшее над собой.  
И так погибает...

Это сделал Штейнбах. И темное чувство злобы против него тает в сердце Мани.

Она приходит сюда каждый день от двух до четырех. Иногда с книгой, как приходила раньше на свидание. Она верит, что Ян позвал ее. У нее нет уже страха. Одно счастье от общения с его бессмертной душой. Она сидит на скамье у могилы, с закрытыми глазами. Книга лежит на траве. Розы благоухают. Тишина кругом звенит и дышит. И ей кажется, что голос Яна скоро зазвучит в ее душе.

«Если утром вы целовали одного, а вечером желание толкнет вас в объятия другого, повинуйтесь вашему желанию! В этом вся правда жизни...»

По гравию дорожки звучат шаги. Маня открывает глаза.  
Перед нею Штейнбах.

Она так растерялась, что забывает ответить на его поклон.

Он медленно проходит дальше. Голова его опущена. Шаги звучат вкрадчиво. И стихают за поворотом.

А она глядит вслед. И сердце ее стучит. Так бурно. Так тревожно.

«Отчего ты так стучишь, мое сердце?...»

– Я не помешаю, если сяду подле? – спрашивает он, чуть-чуть улыбаясь. Одними уголками губ.

Она кивает. Говорить от волнения она не может.

Она ждет его у могилы уже третий день.

И она знала, что он нынче придет!

Он сбоку, полузакрытыми глазами глядит на ее опущенную голову и бурно вздымающуюся грудь.

«Какая хорошенькая головка!.. – холодно думает он.

– Вам нравится этот парк? – спрашивает он с невольным оттенком снисхождения.

Ее ресницы вдруг взмахивают, И взгляд ее обжигает Штейнбаха.

– Зачем вы говорите со мной? Зачем вы сели туту? Какое вам до меня дело? Неужели вы думаете, что я пришла для вас? Почему вы вообразили, что счастливите меня, снизойдя до разговора? Разве я вас просила подойти? Просила?

Она вскочила и стоит перед ним, топая ногой. Лицо ее пылает. Глаза искрятся.

– Пожалуйста, оставьте меня в покое и проходите своей дорогой!.. Ах, да!.. Это ваш парк. Я забыла... Ну да все равно!.. Публике не возбраняется его посещать. А вы не обязаны развлекать публику. Можете уходить!

– Почему вы меня гоните?

Штейнбах улыбается. В первый раз в жизни на него кричат. Это ему нравится. Будит его любопытство. Дурно воспитанная, но очаровательная девочка, Сама жизнь!..

Не отвечая, Маня глядит на него пристально ж наивной бесцеремонностью. Так глядят на портрет.

Боже! Какие чудные брови! Но улыбка у него неприятная. Губы кривятся. А глаза остаются мрачными. Точно на другом лице.

Она вдруг падает духом и садится далеко от него, на кончике скамьи.

– Можете оставаться! Мне все равно, – говорят она с преувеличенной холодностью, избегая его упорного взгляда.

Она берет книгу и держит ее вверх ногами. Все артерии ее бурно пульсируют. Кажется, что сердце стучит в горле и веки жжет что-то. Лишь бы не разругаться! Вот будет скандал!

Штейнбах смотрит на книгу. Потом на рдеющие щеки.

– Что вы читаете? – спрашивает он вкрадчиво. – Какая странная печать!

Маня расширяет глаза. Замечает, что книга перевернута. И вдруг звонко, неудержимо хохочет. Над» бы рассердиться. Но смех душит ее.

– Вы не сердитесь? – подхватывает Штейнбах.

И, выждав паузу, когда Маня перестанет смеяться, он говорит робко и нежно. Так робко, что гнев Мани испаряется.

– Давайте познакомимся!.. Хотите?

Она молчит, чутко насторожившись, слушая всей душой.

– Я давно хотел подойти к вам и... не решался. Вы напрасно обвиняете меня в высокомерии. Я боюсь людей. Я очень... застенчив.

Маня порывисто оборачивается всем корпусом. Книга падает на дорожку. Маня верит сразу. Не столько словам, сколько звукам.

– Вы?... Застенчивы?..

– Да... Почему это вас удивляет? Маня загляделась и забыла вопрос.

– Какие брови! – говорит она вслух.

Он улыбается опять своей недоброй улыбкой.

– Они вам нравятся?

Маня вспыхивает. «Что я наделала!..» Но... И она уже смело встряхивает кудрями.

– Да! – гордо говорит она. – Нравятся... Очень... Я их постоянно вижу перед собой...

Он хочет насмешливо поклониться. Но она быстро поднимает руку.

– Ради Христа, не будьте банальны! Не благодарите «за комплименты»... Вы разобьете мои иллюзии. И я вам этого никогда не прощу!

С возрастающим интересом он смотрит на нее.

Она его сбивает с толку. Все трафаретные приемы в обращении с женщинами, которые не меняешь из лени, оказываются здесь лишними.

И потом это никогда. Оно полно обещаний. Значит, эта девочка, без его ведома, включила его в круг своей жизни?

– Вот я сижу рядом с вами... – говорит она. – И мне кажется, что это только продолжение моих снов. У меня быва-



ют чудные сны... Гораздо красивее, чем сама жизнь. И я часто говорю с Нами. А вы?... Любите вы ваши сны?

– Н-нет... Они скучны, как моя жизнь...

Маня опять молчит, пораженная! Какая правда в этом го-  
лосе! Какая тоска!

– Неужели вы можете скучать? Вы так богаты! Если бы я была богата, я путешествовала бы без конца! Из одной страны в другую... Какое счастье видеть Индию, факиров, змей! Египет, пирамида Иерусалим, гору Синай и Голгофу... Видеть Мексика девственные леса, Амазонку.

Ее голос искрится, как шампанское. Он слушав и наслаждается этой чуждой ему, бурной и светлом жаждой жизни.

– Я все это видел – говорит он, подавляя вздох.

Она всплескивает руками и подвигается к нему!

– Видели? Боже мой!.. Какой же вы счастливец! Чего бы я ни дала, чтоб видеть Восток!

Он молчит, глядя в ее глаза. Невыразимым обаянием веет на него от этого доверчивого и наивного взгляда. Сердце его вдруг начинает биться... Он невольно опускает ресницы, длинные, бросающие тень на щеки. И чертит что-то тростью по земле.

– Мне не хочется вас разочаровать, – говорит он печально. – Быть может, ваша богатая юность нашла бы волшебные ткани, которые набросила бы, как вуаль, на все уродливое, безвкусное, низменное и банальное, что преследует нас, туристов, и смеется над нашими мечтами. Но я, искавший

одинокчества и созерцания, нигде не нашел его... кроме этого парка. И за это, должно быть, я теперь люблю его.

– А в пустыне? У пирамид?

Штейнбах смеется. Ах, как портит его смех! Недобрый, едкий смех... И зубы такие мелкие и острые! Как у хищника...

Какая-то тяжесть ложится на грудь Мани.

– Я ехал в Египет на корабле, полном туристов! Англичан было больше всего. Это проклятие. Туристы отравили мне все красоты искусства и природы в Европе. Нельзя быть одному ни в музее, ни на кладбище, ни в горах... Всюду кишит толпа с плоской ненасытной душой... Она кричит в склепе Медичи, перед «Ночью» Микеланджело. Она свистит в Коллизее, озаренном луною... В те часы, когда ждешь, что из темной пасти вот-вот вырвутся на арену голодные львы и растерзают колыхающиеся в лунном блеске призраки... Она хохочет на дивном кладбище Campo Santo, в Генуе... Она аукается на форуме Рима и на улицах Помпеи... Для нее нет святынь. Ей страшна тишина. Ей понятны лишь стадные движения, стадные чувства. Она оскверняет все дороги и храмы. И говорит, говорит, говорит... И ест, ест, ест...

– О, какое отвращение!

– Вы меня понимаете? – подхватывает Штейнбах. – Хотя вы дитя, но я чувствую, что вы меня понимаете. И когда я думал о Востоке... с той же страстной тоской, какая сейчас звучит в вашем голосе, – я жаждал одного... Быть лицом к

лицу с природой Слышать тишину и биение собственного сердца... Пережить мои грезы наяву. И быть счастливым в забвении. Я этого не узнал. Когда железная Дорога привезла меня к пирамидам...

– Железная дорога?

– Увы, да! Весь поезд был полон англичанами. Они везли с собой ножи, тарелки, стаканы, бутылки, Целые корзины провизии. И говорили, говорили, говорили... И ели, ели, ели... Нас встретили гиды. (Еще неизбежное проклятие!) Они встретили нас, как своих жертв. И в их манерах сквозило превосходство посвященных, стоящих у источника тайны, над невежественной толпой. Они нас повели, как стадо. Грубые, небрежные, алчные... Все должны были слушать, что они объясняли. Ходили стадом, смотрели стадом... Потом это людское стадо, шумно смеясь, полезло на пирамиды. Расселось. Пришел неизбежный фотограф. Потом вынули провизию из корзин. Защелкали бутылки. И ели, ели, ели... пока гиды с лицами преступников хищно ругались между собою. Это они делили ожидаемую добычу.

– О!.. – сорвалось у Мани. Она закрыла лицо руками.

– Я вернулся в отель. Вы должны понять, как я ждал минуты, когда взгляну в лицо Сфинкса! Я сказал себе: «Пусть придет ночь, и туристы погрузятся в сон!...» Когда луна поднялась высоко на пустыней, я пошел. Моя душа была полна трепета Так идут на свидание. Было холодно. Его я увидел издали. Мое сердце забилося. Огромная тень падала на

остывающий песок. Я видел профиль Сфинкса, обезображенный людской низостью. Вдруг я расслышал голоса, смех. «Иллюзия», – подумал я. Увы, нет! Группа туристов сидела на выступах. Как мухи, копошились люди у подножия колосса. Они говорили говорили, говорили... И ели, ели, ели... Окурки сигар пустые бутылки, корки апельсин валялись кругом. Это было бессмысленное, примитивное и унылой жужжание, напоминавшее осенних мух. Я чуть на закричал от обиды... от боли за поруганную тишину, за оскверненного Сфинкса... На другое утро я уехал.

Маня долго молчит.

– Зачем вы мне это рассказали? – горестно восклицает она наконец.

– Такова жизнь...

– Нет!.. Вы не должны были мне это говорить! Вы отняли у меня красивые грезы...

– Вы любите грезить? – подхватывает Штейнбах.

– Да. Я в жизни ценю не то, что она мне дает. А то, что она мне обещает. И в книгах тоже. Если сердце мое не забилося от страха или восторга, книга мне не нужна.

– Вы романтик? Вам чужд реализм?

– Должно быть... Я не люблю, чтоб на картины цветы подходили на обыкновенные цветы. Пусть будут странные! Я люблю, чтоб у кустов и деревьев была душа. Чтоб у стен и домов были лица и голоса. Вы видели картины Борисова-Мусатова?

– У меня они есть.

– Да? Тогда вы должны меня понять.

– Вы любите читать? – вкрадчиво спрашивает Штейнбах, не сводя глаз с профиля Мани.

– Люблю. Но только не о мужиках, не о погромах, не о современной жизни. Это так серо, так плоско! От этого не бьется сердце. Я не хочу в романах встречать своих знакомых! Хуже ли, лучше ли, пусть только герои будут иные! Я прощаю книгам все, кроме бедности вымысла.

«У этой девочки яркий темперамент», – думает Штейнбах.

– Вы требовательны. Насколько я понимаю, вам должны нравиться модернисты.

– Да... Мне не нужна яркая краска, определенность контуров и выражений. Я люблю сама искать и волноваться, когда читаю. Случалось вам, например, задумываться над узором какого-нибудь балкона или решетки на улице? Нет? А я в этих странных линиях «модерна» всегда ищу разгадку какой-то забытой мысли.

– К сожалению, век модернизма кончен. За границей уже возвращаются к реализму. Это особенно заметно на выставках картин в Париже.

Маня горестно всплескивает руками.

– Это ужасно! Знаете? Это Ян научил меня любить эту школу...

– Кто? – быстро спрашивает Штейнбах.

– Ян... Он никого не ценил, кроме модернистов. Пристально глядит на нее Штейнбах. Его брови сливаются в одну линию.

– О ком вы говорите? Маня показывает на могилу.

Молчание длится секунду. И Маня съезживается под взглядом этих глаз, в которых нет ни блеска, ни дна.

– Вы его знали? – тихо спрашивает он. Она гордо поднимает голову.

– Он меня любил...

– А!

«Как хорошо! Гляди, гляди!.. Удивляйся!.. Теперь не будешь меня игнорировать!..»

– Простите... Вы меня... необычайно удивили эти признанием. Знали вы, что этим именем называя его нельзя?

– Да... Но ведь он уже умер!

О, как он глядит! Точно пронзить ее хочет глазами!.. Маня торжествует. «То-то!!! Будешь со мной теперь считаться!..»

– Вы можете мне рассказать о вашем знакомстве? – спрашивает он вкрадчиво, с новым оттенком почтительности.

И Маня рассказывает. Ей так приятно говорить о Яне! Здесь, в двух шагах от могилы! Пока он говорит, обхватив колени руками, глядя в небо перед собою, голубеющее между густыми липами, – прошлое, такое светлое, такое прекрасное, встает перед нею, как будто все это было вчера. Ей сладко говорить этому чужому человеку то, что она скрыла

от Сони, что она хранит в душе, глубоко и ревниво, как Скупой Рыцарь свое золото. Какая-то необъяснимая сила толкает ее говорить о любви. О том, как целовала она Яна, как они сидели обнявшись... как голова ее лежала на груди его. И как она слышала биение его сердца.

Ее голос дрожит от нежности, от охватившей ее жажды любви. Побледневшее лицо теперь уже повернуто к Штейнбаху и договаривает без слов то, что она не решается сказать.

Когда она говорит об его смерти, о последнее свидании, спазм вдруг сдавливает ей горло. Она вскрикивает и, уронив голову на спинку скамьи, рыдает отчаянно. Как будто только сейчас, через год она осмыслила в полной мере, какое сокровище отняла у нее жизнь.

– Дитя мое... Бедное дитя мое! – шепчет Штейнбах, потрясенный непосредственностью и свежестью этого горя. Он так давно не встречал ни бурных слез, ни искренней радости!

Его рука невольно ложится на головку с непокорными кудрями и гладит их. Забытое волнение согревает его душу. Хотелось бы что-нибудь сделать для нее. Что? Что? Все его миллионы бессильны вознаградить ее за такую утрату.

Она вдруг встает. Нос, веки и губы у нее моментально распухли. Слезы портят ее, и она не любит плакать. Но теперь ей все равно! Эти слезы были так сладки!

С благодарностью глядит она на этого чужого человека, неожиданно давшего ей так много. И глаза ее так прекрасны, что только их видит Штейнбах в этом подурневшем лице.

– Извините... Не смейтесь надо мною! До свидания!

– Пойдите! Когда же я вас увижу?

– Завтра... Нет! Не ходите за мной! Не надо!

Она быстро-быстро, упругой, молодой, порывистой походкой идет, не оглядываясь. Почти бежит по аллее.

Штейнбах глядит ей вслед. Задумчивый и тревожный.

«Если б я был художником, я написал бы с нее картину, полную движения. И назвал бы ее «Весенний ветер». Как этот ветер, она несет с собой обещания, тревогу... какие-то смутные возможности...»

Он долго сидит у могилы Яна, прислушиваясь к охватившему его настроению. Как давно, как бесконечно давно ушли из его жизни такие минуты!

– А!.. Вы уже здесь?

– Давно... Я жду вас больше часу.

Она смеется, сверкая зубами, глазами, ямочками на щеках. Как будто искрится вся. Она подает ему Руку как знакомому.

– Я не могла прийти раньше. Там гости. Приехала эта глупая Катя Лизогуб. Она говорит о чем хотите. И смеется решительно всему. Я не выношу таких людей! Вы ее знаете?

– Не-множ-ко.

– Она вам нравится? Скажите? Нравится?

– Я не помню ее лица. Маня зло и весело смеется.

– Я не хочу, чтоб знали о наших встречах! Я говорит она



серьезно. – Тогда пропадет вся их прелесть. Правда? Правда?

От нее веет в его усталую душу такими весенними настроениями, что он, как вчера, чувствует себя молодым.

– Вы маленькая волшебница! – говорит он. – Нынче, просыпаясь, еще не придя в себя, я почувствовал радость. Я почувствовал, что в мою жизнь вошло что-то... Новое и светлое.

– Я тоже! – говорит она наивно и восторженно.

– Но вы молоды. У вас это чувство естественна. А я уже забыл его.

– А вы разве стары? – спрашивает Маня.

Она садится, наклонив голову набок, и внимательно его разглядывает.

«Как птичка! – думает он с грустью. – Зачем, глупец, я говорю ей о годах и сам себе рою яму?»

– Мне под сорок.

– Со-рок?

– Ах, какое разочарование! Не правда ли? Да, без натяжки мог бы назваться вашим отцом. А я был так молод! Так светел и гармоничен!

– Как? Как вы сказали? Повторите! Она вся насторожилась.

О, какие глаза у этой девочки! Штейнбах без волнения не может глядеть в эти знойные и такие невинные глаза.

– Я очень любил Яна, При всей его сложности, он был

необычайно гармоничен. Он действовал на меня, как горы. Вы удивлены? Я люблю горы. Больше, чем море. Море волнует меня, раздражает. Оно так похоже на нашу душу! Мятежное, изменчивое, предательское. А горы молчат. Они полны тайны и величия. Это ступени богов...

Маня вздыхает всей грудью, и ему приятно. Он чувствует, что создает ей настроение.

– Я всегда от людей уходил в горы. Только там понимаешь, что значит тишина и воздух. Я подымался так высоко, что даже пчелы не жужжали внизу, под ногами. И, лежа там часами, я забывал об обидах, о разочарованиях. Я целый год прожил в шалаше, в горах Кавказа...

– Вы, значит, людей не любите? Нет?

– Нет... Ян любил будущего человека. Свободного, смелого и прекрасного. Я в такого не верю. Из всех существ в мире человек наиболее жестокое и себялюбивое животное. И если тысячелетия не сделали его иным, рассчитывать не на что. Я чудеса отрицаю. Нужны века, чтобы родились такие, как Ян. Для того, должно быть, чтоб показать нам, каким мог быть идеальный человек. Но мир этого идеала не приемлет...

– Ради Бога! Не говорите так! Я заплачу...

Он тихонько берет ее руку. И тихонько подносит к своим губам.

Она вздрагивает. Это прикосновение нежно. Но ей кажется, что это ожог. Она вырывает руку. И, потрясенная своими

ощущениями, глядит на него испуганно, почти враждебно.

– Простите! Я не хотел вас обидеть, – робко говорит он.

«Какие зрачки! Какие жуткие, мрачные глаза!»

– Послушайте... Можно? Вы не обидитесь?

– Что такое?

Она подвигается к нему.

– Меня ужасно тянет посмотреть в ваши глаза.

– Смотрите...

Его губы кривятся в улыбке. Хищная, саркастическая улыбка. Пусть! Все равно! Она кладет ему руки на плечи и снизу вверх глядит ему в зрачки. Их лица близки. Дыхание смешивается.

Ноздри Штейнбаха вздрагивают. И сердце его начинает стучать. О, какое наслаждение! Давно забытое...

«Неужели я еще способен увлекаться?..»

– У вас совсем не видно зрачков. Точно из окна освещенного дома смотришь в темную ночь, прильнув лицом к стеклу.

Он глядит, как шевелятся ее губы. «Она наверное чувственна. Это такая редкость! Так ценно в женщине! Если бы...»

Ему страшно, что она заметит его волнение. Желание делает лицо старым и неэстетичным. А ему хочется нравиться.

«Почему она так побледнела? Так тяжело дышит?»

Она отодвигается. Печальная, подавленная. «Какая роковая, какая страшная красота!..» – не думает, а как-то чув-

ствуется она.

Что-то пошатнулось и погасло, словно в ее собственной душе. Родилось ли новое? Умерло ли старое? Ах, она ничего не знает! Она словно утонула во мраке его глаз в это коротенькое мгновение. Словно заглянула в бездну. Заманчивую и страшную.

Он молчит, выжидая.

– Да... Вы совсем другой, – говорит она каким-то разбитым голосом. – Ян был как весенний день...

– А я как осенняя ночь?

– Да. Вы не сердитесь? Не сердитесь?

– Нет. Я это знаю сам.

Теперь Мане его жаль. Она бессознательно придвигается ближе. Когда он такой, у нее к нему другие чувства. Простые и нежные.

Он точно читает в ее душе.

– Сядьте со мной, как вы сидели с Яном! – шепчет он робко, как мальчик. – Если я не противен вам, сделайте так!

Она колеблется мгновение. Потом ложится головой на его плеча. Он тихонько обнимает ее.

Ее глаза закрыты. Она не разберет, чье сердце стучит так, что оглушает. Голова кружится Нет дыханья.

Она резко отодвигается.

– Нет! Не могу! Вы не Ян! Не могу! Не сердитесь, пожалуйста! Но... у меня к вам... совсем другое чувство...

– Отвращение? – подсказывает он. И его верхняя губа

приподнимается, показывая зубы.

«Не думает ли он, что это улыбка?..» Она внимательно и уже холодно рассматривает его лицо. Да... Вон у него уже седеют виски. И волосы курчавые, как у страшного дяди. Лет через десять-пятнадцать он будет такой же жуткий... Какое сходство! И как она сразу не заметила этого сходства?

Очарование исчезает. Как жаль! Нет. Это даже хорошо. Слишком сильно очарование! Надо взять себя в руки... «Господи, помоги мне! А то влюблюсь без памяти и начну бегать за ним, как гимназистки за учителями. А он будет опять говорить со снисхождением и втайне презирать меня, как других. Но брови... брови!. Они меня сводят с ума!..»

Штейнбах съеживается от ее взгляда и невольно опускает ресницы.

Теперь она видит его в профиль. Ничего в нем хищного, ничего типично еврейского. Какая чудная матовая кожа без блеска и румянца! Какие ноздри!

Вдруг...

Маня сама не знает... Огорчена она или рада? Она видит изъяны этого лица. Уши... Маленькие, красивые, но бледные. Мертвенно-бледные и прозрачные. Как будто... О, какое отвращение! И синеватые веки... Какие-то мертвые... Она вздрагивает невольно. «Жид!..» – громко говорит кто-то в душе Мани. Как она могла об этом забыть?

Когда она встает, холодная и далекая, Штейнбах чувствует, что все потеряно. Он уничтожен. Спрашивать нечего. У

нее слишком выразительное лицо.

«Я стар для нее», – думает он. И сердце его сжимается. В первый раз он встречает пренебрежение женщины.

Это конец!

Он даже не просит ее вернуться завтра, когда она идет по аллее, чужая ему и равнодушная. Она жестока, как может быть жестока только молодость. И вся власть его миллионов бессильна покорить фантазию этой девочки, купить ее ласку.

Он сидит, сгорбившись, на скамье. Чувствуя на своих плечах мертвую тяжесть прожитой жизни.

Он прислушивается с какой-то фаталистической покорностью к ее легким замирающим шагам.

Пришла, как весна. И ушла, как юность.

Все кончено...

– Здравствуйте, Штейнбах! Что вы вздрогнули! Неужели вы так задумались, что не слышали моих шагов? О чем же вы думали? Вы можете мне ответить? Или вы меня не ждали? Или вы меня забыли?

Как всегда целый каскад смеха и слов! И не знаешь, на что отвечать.

Он вскочил, забыв тоску вчерашнего вечера, эту бессонную ночь, свои горькие думы сейчас. Он стоит, сжимая ее руки. Всю ее обнимая жадным взглядом!

О, как она ему нужна, эта девочка! С ее смехом, юностью, жадной жизни! Как свежий оазис в палящей пустыне. Как

сон после утомительной дороги. Как вино, когда жаждешь забвения. Нынче серый день. Собирается дождь. Но она пришла и принесла с собой солнце.

– Я думал, вы не вернетесь...

Она с восторгом смотрит на его брови.

– Вы думаете, я уж так богата впечатлениями, что не стану дорожить встречами с вами? Я так много мечтала о вас, что не скоро буду сыта. Вы можете не опасаться...

«У нее нет ни тени кокетства! Это страшно...»

– Я боюсь вам верить. Неужели вы обо мне... думали?

– И я, и Соня. Мы о вас говорили целый год. И я вас видела во сне. Почти каждую ночь!

Она рассказывает ему о встрече на станции.

– Вы помните? Я вас толкнула. Вы меня задела плащом и сказали: «Извините!...»

– Н-нет... Простите... Как это было? Постойте!..

Ее лицо вытягивается и бледнеет. Она видит опять ярко и отчетливо всю разницу их общественного положения. Эту глубокую пропасть, разделяющую их жизни. И через которую только фантазия ее перекинула воздушный мостик.

Она отнимает руку, которую он все время пожимал.

– Вы не помните? Я вижу. Ах, пожалуйста! Ваша деликатность ни при чем. Я чувствую, что вы не помните. Да и что тут странного? Что мы с Соней Для вас? Эта встреча... Мы жили ею целый год... А вы? Оставьте мою руку! Оставьте!

– Вы сердитесь?

– Ах, это слишком мало! «Сердитесь!» Я вас ненавижу! Я целый месяц тогда вас ненавидела...

Он вдруг смеется.

– Какая вы милая! – говорит он неожиданно и мягко. – Как я счастлив, что вы меня ненавидели!

Все разом мешается в ее душе. Над хаосом словно выглянуло солнце. Она смеется всеми ямочками. Зубы сверкают. Сияют глаза. Они опять как товарищи в эту минуту. Равные и близкие.

– Как странно! – говорит она, отдавая ему опять свою руку. – Тот Штейнбах, которого я видела на станции, и вы... совсем разные... Это два лица. Заметили вы, что так бывает всегда? Ни один чей век не похож на то, что мы о нем думаем и чего мы от него ждем, когда мы видим его в первый раз. Поэтому я не люблю знакомиться. Я люблю только мечтать о людях.

– Да будет благословенна на этот раз ваша ошибка! – шепчет он, жадно любуясь ею.

Но она не замечает своей власти над ним. Я полна только собой.

«Какая сила! – думает он. – Она взяла Я сердце. Она держит мою жизнь, и я не знаю, я ничего не знаю, что она делает, из нее? Уронит ли как этот платочек, на дорогу? Распотчет ли, уходя, равнодушная и жестокая... как вчера? Или позовет за собою... Боже! Я даже не знаю, кто она? Как ее имя? Я встретил ее на этой скамье в одно утро. Загадочную,



внезапную, как мою судьбу. И из рук ее я готов принять горе, счастье. Даже смерть! Без ропота и сожалений...»

Она говорит задумчиво:

– Иногда мне жалко, зачем мы познакомились? Какие-то чары исчезли... Греза умерла... Теперь я знаю, как вы говорите, смеетесь... Как от вас пахнет... Ну да, конечно. Что вы удивляетесь? Ха!.. Ха!.. Я всякого человека свой запах. Надо только уметь его слышать. А у меня обоняние тонкое. Знаете? У Яна лицо так чудно пахло весенней свежестью! Яблоками... Я любила наклониться к его бородке и нюхать. Опьяняло так... А от вашего лица... когда я вчера положила вам на плечо голову... от вашей бороды пахнет совсем не так...

Штейнбах замирает от ужаса. Пальцы его разом цепенеют.

– Тоже опьяняюще... Только... у меня голова кружится. И сердце стучит... Точно дурман нюхаешь... Вы видели цветок дурмана? Вы такой же... ядовитый.

– Противный?

– Д-да... Прекрасный... Но... Противный...

Они оба смеются. Он с облегчением.

– Я боюсь, что была когда-то собакой. В другом мире, в прошлой жизни. Вы верите в переселение душ? Я верю. Ха! Ха!.. У меня так развито обоняние! Оттого я так люблю цветы, меха. Я не знаю цветка без запаха. У всех есть самый тонкий. И у людей тоже. У Сони один, у дядюшки другой. У одних милый, у других противный...

Шелестящие звуки и шорохи наполняют парк.

– Дождь идет, – говорит Штейнбах огорченно. – Как быть? Где ваш зонтик?

– Ах, он весь в дырочках! Я всегда без зонтика. Я не боюсь дождя.

– Но вы промокнете. Простудитесь. Хотите? (он замирает на мгновение, испуганный своей смелостью и радостью, которая его охватывает). Хотите вы... переждать в доме?

– Где? Где?

– У меня в доме...

– Ах, как это хорошо! Я давно хотела его видеть. Пойдемте скорей! Скорей!

– Какое великолепие! – говорит Маня, останавливаясь в кабинете перед оригиналами Рембрандта, Дюрера и Ван Дейка.

– Отец особенно любил этих художников. Моя мать родом из Голландии. Это в ее память. Вообще здесь нет ничего моего. Все это вкусы и страсти отца. На всем остался отпечаток его крупной души. Я здесь такой же гость, как и вы.

Он садится на мягкий пуф, у ее ног. И берет ее руки в свои.

Она молчит, подавленная впечатлениями. Никогда вблизи не видала она такого богатства.

Обстановка у Горленко и Лизогубов кажется теперь такой мизерной! И как свободно движется и дышит здесь этот «жид», как сказала бы Вера Филипповна... «Есть лица, со-

зданные для богатства, А я Золушка-замарашка, – говорит она себе. – Мои юбка и туфли здесь ужасны. Как он этого не замечает?»

Она грезит наяву. Как странно ей сидеть здесь, на этой тахте, крытой персидскими коврами!

Точно во сне... Нет, она не Золушка. Она принцесса. А вот ее вассал, у ее ног. Красивый. Немножко страшный. Но покорный. Точно коршун на цепи, готовый выпустить свои когти.

– Как ваше имя? – словно в пьесе спрашивает он ее.

– Вербена...

– Н-нет... Серьезно... Скажите, кто вы?

– Зачем? Так лучше... У меня вульгарное имя. И так хорошо, что мы ничего не знаем друг о друге! Ни о прошлом, ни о чем.

Он улыбается.

– Вы думаете, у меня нет прошлого? Вы так думаете? А Ян?

Ее левая бровь поднята выше правой... Такое капризное личико!

– О, да!.. Это страшно много! – говорит он серьезно. – Он обогатил вашу душу. Он умел дарить.

– Объясните! – Она придвигается к нему.

Ее пыльные старые туфельки пачкают его колени. Но эта близость не тревожит ее теперь. Когда они говорят о Яне, он словно тут, с ними. Любовь к нему сближает их души.

Создает атмосферу света и доверия.

– Есть люди, которые всю жизнь обречены давать окружающим свою душу. Их мало. Есть такие, что умеют только брать у других. Их миллионы. Ян был щедр, как князь. Его натура была сокровищницей, откуда все черпали пригоршнями. И уходили счастливые. Поэтому его нельзя забыть.

– А вы?

– Что я?

– Вы... даете? Или только берете у других?

– Моя жизнь – это сплошная ирония. Мне было мало отпущено судьбой талантов, энергии, жизнерадостности... желаний... Я – потомок вырождающейся семьи.... Я последний в своем роде. Мы – евреи – быстро вырождаемся. Быть может, потому, что борьба за жизнь слишком тяжело дается. Впрочем, о моей семье этого нельзя сказать. Еще в XII веке предки моей матери, Девидсоны, ссужали деньгами королей и лордов. А при Елизавете Английской они были в почете при дворе. Мы никогда не знали унижений и нужды... этих проклятий, тяготеющих над еврейством... Тем не менее яд вырождения отравил нашу кровь. И я обречен с колыбели.

Он смолкает, опустив синеватые веки. Горестно изогнулись черные брови.

О, как больно! Как жалко его слушать! Каким предчувствием томится ее душа! Как ей хочется поцеловать этот большой лоб, эти трагические брови!

– Вы не похожи на отца! Вы удивительно похожи на ва-

шего дядю!

– Как? Вы разве его знаете?

Тень проходит по его чертам. И как бы падает на щеки Мани. Они бледнеют. Блеск ее глаз меркнет внезапно. И он это видит.

Маня закрывает глаза. Ей хочется плакать. Отчего это так холодно стало вдруг? Хорошо бы согреться! Спрятать голову на его груди... Почувствовать себя любимой... Вспоминается Ян...

Вдруг горячая слеза капает на руки Штейнбаха. Он вздрагивает и поднимает голову.

– Вы плачете? О чем?

– Мне вас жалко... не знаю... отчего... И себя жалко... И вас... Нет, не глядите на меня! У меня сейчас распухнет нос, и я буду страшная. Ну, скорее! Говорите что-нибудь еще!

– Вербена, как вас зовут люди?

Она смеется.

– Маней... Видите, как просто! Зовите и вы меня Маней! Все-таки это не так ужасно, как Марья Сергеевна. Фи!.. Вообще, до чего возмутительно, что родители сами выбирают нам имена! Почему бы ж крестить нас, когда мы вырастаем? Если бы меня звали Прасковья или Настасья, я лишила бы себя жизни. А вас как зовут?

– Марк...

– Марк... Марк... – повторяет она, прислушиваясь и, как птичка, качая головой. – Это хорошо звучит. Напоминает

Рим. А как дальше? Нет, нет, молчите!.. (Она кладет ему руку на губы.) Я боюсь, что дальше будет Мироныч, Львович, Борисыч... что-нибудь невозможно еврейское... Ха!.. Ха!.. (Она вспыхивает.) Вы не обижаетесь? Не сердитесь?

– Вы не любите евреев? Не отвечайте... Я это чувствую. Вы не можете их любить. Они неэстетичны.

– Ради Бога, не сердитесь! Но это правда. Я все время стараюсь забыть, что вы – еврей. И мне это удастся. Вы так прекрасны! Так аристократичны. Знаете? Здесь на селе был студент с чудным именем Измаил. А эти безвкусовые.

– Жиды, – подсказывает Штейнбах.

Маня опять вспыхивает и теряется.

– Простите! Это дурная привычка. У Горленко все так говорят. А эти евреи зовут его *Зяма*... Они лишены чутя. И зачем они всех называют уменьшительными именами? Как это нелепо! *Зяма*... Это напоминает что-то плоское, ползучее... вроде червяка... А у него была такая огневая душа! А как жаль, что именно вас не зовут Измаил!

Она задумывается на мгновение.

– Кстати, я слышала, что каждый человек над поминает какое-нибудь животное. Я сама среди гимназисток встречала кошек, коров, овец и крыс. Это самые распространенные типы. А вы похожи на коршуна. Видели вы в Зоологическом саду, в клетке, этих трех хищников? Когдаходишь, они зорко и надменно глядят тебе в лицо. У них глаза так близко-близко поставлены! И как будто брови взмахнули над ни-

ми, хотя и нет бровей. Какие они красивые и гордые! И какой позор для человека, что он запер их в клетку!

Вдруг она вспоминает.

– Пойдите! Вы говорили о себе и о Яне... Не можете ли вы закончить? Я вас прервала...

«Она не так непосредственна, как я полагал», – удивленно думает Штейнбах.

– Я вам напомню. Почему вы не любите людей?

– Они ко мне безжалостны. У меня в детстве была робкая и нежная душа. Они сделали из меня циника. Самая грубая лесть, самое грубое игнорирование моей собственной личности. Ненасытная алчность. Ничем не прикрытый расчет. Вот что я видел кругом себя в те годы, когда ищешь друга, когда веришь в человека, когда ждешь любви. Если б я был беден, я нашел бы, быть может, друзей, любовь, интерес к себе. Но я был мешок с деньгами. От меня ничего не ждали. У меня ничего не просили, кроме золота. Отдельные люди и целые партии бились из-за меня, как будто я был высший приз в жизни! Все добивались власти надо мной. Но искали не меня. Даже женщины любили меня сквозь призму моих миллионов. Во все эти долгие годы я не встретил человека, который подошел бы ко мне без расчета, с глубоким интересом к моей душе. Меня всюду встречают восхищенные взгляды и провожает шепот. Но я знаю цену этому вниманию. «Вот идет Штейнбах... Миллионер Штейнбах...» – говорят на моем пути. Если б вы знали, как мучи-

тельно цепляться за иллюзии! И терять их внезапно. Из-за одного случайно сорвавшегося слова, из-за блеска глаз, бессознательной мимики! Если б вы знали, что значит целовать прелестное лицо в безумной жажде забвения! Слышать слова любви и ничему не верить! Моя жизнь – ирония. Я ничего не значу без богатства. И это богатство я проклинаяю. Мой отец находил удовлетворение в власти над людьми. Он упивался ею... Но разве это власть? Ян – бедный, оборванный, не имевший крова над головою, – царил в душах людей. И даже из могилы его заветы звучат в сердце тех, кто принял его веру. Я – нищий перед Яном. И... я давно банкрот. Как охотно сбросил бы я с себя все эти золотые цепи! Но разве я – господин своей жизни? Нет рабства ужаснее моего! Каждый вправе прийти ко мне в любой час, когда я хочу быть один, когда хочу помечтать, когда хочу отдохнуть. Каждый вправе нарушить с грубой бесцеремонностью мое настроение и изложить мне свои просьбы... Нет! Свои требования. У меня все требуют. А я должен выслушивать каждого... видеть плоские лица, пожимать ненужные руки... Положение обязывает! Так началось еще с университета. Сколько раз я мечтал за этот год развязаться с заводом! Продать его, передать. Нет! Волосы встают дыбом, когда вспомнишь, какая гора обязанностей лежит на моих плечах! Обязанностей перед обществом, перед народом, перед уездом, перед властями... Какой гул и ропот! Увещевания губернатора... Ахи, удивленные взгляды... «Конечно, я болен? Все это нервы.



Надо отдохнуть...» Благосостояние края!.. О, Боже мой! Я связан по рукам и ногам всевозможными обязательствами. Куда бы я ни ехал, меня преследуют телеграммы, срочные ответы, деловые письма. Сколько надо прочесть ежедневно! Сколько ответить! Всюду управляющие. Но у них нет инициативы. Отец железной рукой держал все нити. Все привыкли только к подчинению. Я был счастливее при отце. Я мог уезжать и жить инкогнито за границей. Ах, я устал!

Не выпуская рук Мани, он притягивает ее к себе ближе. И голос его дрожит и крадется в ее душу.

– Маленькая фея! Вы не знаете, какой жалкий нищий сидит перед вами! Вы не знаете, как голодна его душа! Как убога жизнь! Вы не понимаете, как он мучительно завидует вашей непосредственности и вере в себя! Вы так богаты! Вы так щедры! Люди ничего не дали мне, кроме глубокой усталости и отвращения! Вы подарили мне мои красивые сны. Мои робкие и бледные надежды. Пусть я обманулся! И снова проснусь завтра таким же одиноким и нищим, каким был до встречи с вами! Я все-таки был счастлив этим обманом... Взамен требуйте от меня всего, включая и мою жизнь! И с радостью положу ее к вашим ногам!

Маня глядит в его зрачки. Так глядят в бездну. Тихо кружится голова. Сладко замирает сердце...

Жуткое блаженство...

– Вы меня любите, Марк? – в безграничном изумлении, как во сне, спрашивает она.

– О, Маня...

И ничего больше. Ни одной клятвы. Ни одного признания.

К чему? Его голос пронзил ее душу. От его взгляда задрожали все ее нервы. Она верит... Она счастлива...

Он обнимает ее тихонько. Тихонько привлекает к себе. Прекрасно и трагично его одухотворенное лицо.

Она берет в обе руки его голову. И целует лоб, эти скорбные брови. Потом прижимается к его голове Щекой...

Он замер под этой лаской.

Они сидят неподвижно. Оба с закрытыми глазами. И слушают полнозвучную тишину своих душ...

Дождь идет ежедневно. И Маня, в плаще с капюшоном, в калошах, приходит в известный час к Роще, где ждал ее когда-то Ян.

Теперь там ждет ее Штейнбах. Он везет ее к себе в кабриолете. И потом довозит обратно до рощи.

Маня огорчена. Вера Филипповна встревожена ее Прогулками в такую пору. Кто-то видел ее по дороге в Липовку...

Она дрожит за эту тайну! Какой ужас, что ее захватывают чужие руки! Будут сплетничать, связывая с улыбкой их имена!

– Какая пошлость – жизнь! – говорит Штейнбах. – Вы даже не понимаете всего, что могут сказать про нас. У людей нет фантазии. И нет потребности в красоте. Они счастливы только, когда могут выполоскать в уличной грязи вашу ду-

шу. Это они называют «общественным мнением».

Маня говорит уныло:

– Теперь приезжайте к Горленко и знакомьтесь со мной! Больше нам ничего не остается! Барометр упал... Дождь может идти две недели... Приезжайте завтра. Но помните, что мы незнакомы! В сущности, это правда... Мы будем уже не те в другой обстановке...

Они долго молчат, подавленные.

– Марк, за обедом говорили о вас...

– Конечно, бранили?

– Представьте, не очень. Говорили, будто вы талантливый адвокат.

Он кривит губы.

– Вы, может быть, думаете, что это улыбка? – строго спрашивает она его. – Это просто гримаса. Я вас не выношу, когда вы улыбаетесь! Не выношу!

– Простите! Не буду... Он уже смеется.

– А теперь ненавижу! – Она топает ногой. – Какой у вас циничный, отталкивающий смех!

– Нет, Маня... У меня полное отсутствие таланта. Если б мне пришлось красноречием добиваться приза в жизни... любви, например, я не сумел бы бороться даже тогда. Адвокат без темперамента и творчества – одно недоразумение. Я именно таков...

– Жаль... Мне было приятно слышать. Значит, у вас нет темперамента? Нет?

– Абсолютно никакого... Как у амфибии.

– Какая гадость! – Маня смеется. – А что же у вас есть?

– Чудовищная чувственность... Это в крови семита.

Маня задумывается.

– А какая разница? Какая?

– У Яна и Зямы чувственности не было. Или она спала глубоко. Но в их душах царили глубокие страсти, толкавшие их к подвигу или к преступлению, руководившие их жизнью. Идея... женщина... Все это заполняло их душу. Затопляло ее, как могучая волна. И они действовали и любили смело, ярко, не рассуждая.

– А вы? А вы, Марк?

– А я? Я люблю тело женщины. И ощущения, которые оно мне дает. Иногда какой-нибудь поворот головы, какая-нибудь одна линия в лице или в фигуре сводит меня с ума. Иногда манера смеяться. Манера... ласкать. Здесь масса оттенков... Каждая женщина глубоко индивидуальна в своей любви. Но я страшно холоден и беден душой. Страсть, Маня, это молния, которая ослепляет. И часто зажигает душу другого. Чувственность – это болотные огоньки. С ними все так же темно и жутко... И холодно... Вы гонитесь за ними. Они исчезают.

– Пойдите! (Маня вся насторожилась и сосредоточенно думает.) – Вы значит... Вы все-таки любите женщин?

– Очень, – говорит он.

И его изогнутые губы кривятся.

Ей вдруг становится тяжело. Зачем она здесь? К чему они сидят, обнявшись? Таким холодом веет от его слов! И так бесконечно далеко он от ее души! Какое мучительное чувство! Откуда оно? Хочется плакать...

Она встает. Бесстрастная, угасшая... Даже углы рта ее опускаются в какой-то глубокой апатии.

– Куда вы, Маня?

– Нет... Мне скучно... Отвезите меня домой!

Он съеживается. Он не смеет просить ее остаться. Душа этой девочки для него загадка.

Всю дорогу она молчит, отвернувшись.

Когда она выходит из кабриолета, у опушки рощи, он хочет поцеловать ее мокрую ручку.

– Оставьте! Не смейте! – вдруг страстно говорит она. Враждебно сверкают ее глаза. Кудри выбились из-под капюшона и завились еще круче от сырости. Ресницы мокры...

Почему? Капли дождя... Или слезы? Пушистые щеки пылают.

«О, милое личико!..»

– Вы сердитесь? – смиренно спрашивает она.

– О!.. Сержусь ли? Я ненавижу вас! Никогда не смейте целовать мне руки! Слышите? Если вы еще раз поцелуете, все будет кончено между нами?

Она идет, не оглядываясь. Он чувствует, что она плачет.

«Почему? Почему? – думает он. – Неужели? Неужели ревнует?... Какое счастье! Ах, слишком большое счастье! Боюсь

верить! Не надо думать. Боже мой! Как дожить до завтра?!»  
Да. Маня ревнует. Маня несчастна. Душа ее смята. Жизнь потеряла ценность.

Ушла навеки та светлая, гармоничная радость, какую подарил ей Ян. Чувство, которое делало ее счастливой, как цветок.

За чаем говорили о Штейнбахе. Она узнала, что он женат. Почему она никогда не думала об этом? Почему она не думала об его прошлом?

Как тень идет оно за нами. И вот почему холодом веет от взглядов любимого лица. От улыбки, от слов. А больше всего от молчания.

Это то, чего мы не знали. И не узнаем никогда. Это мир, в котором нам нет места. Мир первых впечатлений и полновзвучных, богатейших переживаний, который каждый из нас любит с глубокой тоской, с глубоким благоговением. Как могилу матери. Как дом, в котором родился. Только там для нас цвели самые пышные цветы. Для нас горели зори. Только там строили мы гордые башни. Только там слагали первые песни и лили жаркие слезы.

Пусть цветы завянут и зори погаснут! Пусть башни рухнут! И забудутся слова песен, зажигавших душу! Ничто в дальнейшей жизни не заменит нам красоты ушедшего. Самые пышные цветы не будут так радовать глаза. Самые пламенные стихи не исторгнут слез. И даже обман и утрата иллюзий, даже развалины и могилы будут нам дороже дворцов,

любви и славы. Только потому, что они ушли...

Маня уехала кататься верхом, несмотря на грязь на дороге. Она ищет забвения. В душе такая жгучая боль!

Солнце красиво садится в дымку. Тучи поднялись. Завтра будет солнце. Но оно уже не прогонит упавшую в душу тень. Не залечит первой раны.

Когда она возвращается, ночь уже плывет.

Все окна настезь. В зале горит огонь. На дворе фыркают горячие лошади. Чужой экипаж.

– У нас гости? – сердце Мани падает.

– Шенбок, – говорит Петро таинственно и радостно, снимая ее с седла.

Маня останавливается в дверях. Сердце бьется.

Кто-то поет... Какой чудный голос! Это «Вечерняя звезда», песнь Вольфрама из «Тангейзера»... Неужели?..

Да, это он... И сам себе аккомпанирует.

На нее оглянулись, шикнули. Она замирает у входа. Здесь Лизогубы, Катя, Соня, все... Какие у них новые, красивые лица!

«Он меня увидел», – почувствовала Маня внезапно.

Голос Штейнбаха точно вспыхивает:

Ты ангел светлый, ангел милый,

Что светишь в жизни мне постылой...

На нее с мольбой и страстью глядят его глаза. Ей звучат

эти скорбные, пламенные признания.

Губы ее дрожат от безумного желания заплакать. Точно камень скатился с груди.

– Позвольте вам представить нашу любимицу, – как во сне слышит она голос Веры Филипповны, – Маня Ельцова, подруга моей дочери...

Он низко склоняется перед нею.

«Как перед принцессой», – чувствует Маня.

Катя Лизогуб вспыхнула от зависти. Дядя удивлен. Соня насторожилась.

Когда Штейнбах поднимает голову, он видит, что глаза Мани полны слез и обещаний...

На другой день солнце на небе и в душе Маня!

Она сердится на себя за радость, которая трепещет в ее груди. Но осилить ее не может.

«Сейчас увижу его! Наверно, ждет у рощи... А если нет? ... О, тогда конец! Всему конец... Я не прощу его никогда... Идти? Или остаться? Пойду... Взгляну. Холодно взгляну. Но к нему не подойду ни за что!.. И в парк не пойду»...

Так и есть! Стоит у опушки... Без экипажа...

– Что вы тут делаете? – надменно спрашивает она.

– Жду...

– Как вы самонадеянны! Почему это вы вообразили, что я должна прийти?

Его ноздри вздрагивают от сдержанной улыбки.



– Вы пришли, – говорит он чуть слышно.

– Но это ничего не доказывает! – вспыхивав она и топает ногой. – Я гуляю...

– Позвольте мне вас проводить.

– Незачем! – небрежно говорит она.

Но тут же, без всякой логики, берет предложенную ей руку и молча идет рядом, к парку. Его смирение обезоруживает ее.

Нет... Даже не то... Зачем лгать перед собою? Только вдали от него она может презирать его, не считаться с ним. Его близость так пьянит ее, что сладкое и страшное безволие сковывает ее душу. Как это ново! И это мучительное томление... И эта странная неудовлетворенность... И тревога... С Яном все было иначе. С Яном было так тихо и светло! Точно два мира каждый отдельно дали ей эти оба.

– Какой у вас голос! Какой вы тонкий художник! Отчего вы не на сцене? Отчего вы мне не говорили, что поете? Когда я услышала ваш голос, я простила вам все...

– Простили?... Разве я виноват перед вами? Она молчит, враждебная и насторожившаяся.

– Впрочем, вы правы, – говорит он печально. – Прошлое не умирает.

Она молчит всю дорогу, далекая и враждебная.

– Расскажите мне о вашей жене, – говорит она, сидя с ногами на тахте, в кабинете.

Штейнбах рядом. Их разделяет только вышитая подушка.

Но для него это стена, через которую он не видит души Мани. У нее новое лицо. Даже голос новый... И чужой...

– Она очень хороша собой? Вы ее очень любите? Почему ее здесь нет? И почему вы несчастны, если женаты? Поймите! Какая она из себя? Брюнетка или блондинка? Ну, что же вы молчите? И, пожалуйста, не смотрите на меня! У меня мысли путаются, когда вы смотрите. Опустите ресницы! Слышите? И отвечайте по порядку!

Его губы опять кривятся.

– Начните с начала, пожалуйста! Первый вопрос исчез среди других.

Она вспыхивает.

– Опустите глаза и перестаньте гримасничать! Вы отвратительны, когда улыбаетесь. Впрочем, нет... Можете смеяться! Чем хуже, тем лучше! Ну-с? Я слушаю... какая она из себя? Блондинка?

– Да.

– Еврейка?

– Да.

– Ну, конечно, – с презрением подхватывая! Маня. – Дядюшка говорит, что еврей может влюбляться в кого угодно. Но любить может только еврейку. И жениться только на еврейке...

– Федор Филиппович, надо думать, очень осведомлен в этом вопросе... Он тоже юдофоб?

– Что значит тоже?

– Я хотел сказать, как вы?

– Я сама не знаю, что я такое! – сердито говорит Маня. – Да, я терпеть не могу жид... евреев! Но вас я любила...

Он делает порывистый жест и хватает ее руки.

– Вы? Меня?

– Чему вы обрадовались? Не люблю, а любила. Несколько дней... Может быть, часов... И даже не вас, а ваше лицо... брови... Пустите руки! Пожалуйста, не целуйте! Мне от вас теперь ничего не нужно! Все очарование исчезло...

– Когда?

– Третьего дня... Марк... Марк... Вы с ума сошли?!!

– Я счастлив!.. Боже... Как я счастлив!..

Он берет ее руки и закрывает ими глаза свои. Его ресницы вздрагивают.

И вдруг какой-то мостик, на котором Маня укрепилась, скользит под ногами. Шатается. И опять бездна чувствуется внизу. Сердце падает. Она близка к обмороку. Что-то фатальное, жуткое глядит на нее из этих глаз, из этого лица. Хочется бежать.

Или этот страх – радость, которая затопляет душу? О!.. Прижаться к его лицу! К его бровям я губам! Утонуть в этом чувстве... В этом запахе его кожи и волос...

Совершенно не отдавая себе отчета в том, что она делает, в опьянении она порывисто берет его за плечи. И, закрыв глаза, прижимается лицом к его губам.

– О, целуйте меня! Целуйте!.. – сквозь зубы говорит она.

И вся дрожит.

Когда она приходит в себя, лицо ее залито слезами.

Он на коленях, у ее ног. Его лицо спрятано в складках ее платья...

Что было сейчас? Где? В каком новом, неведомом мире блуждала ее душа?

Она берет его за руку, пальцы которой судорожно впились в плюш тахты. И кладет ее на свое вздрагивающее сердце...

Он поднимает голову. О, как прекрасно... И как страшно его лицо!

– Марк, – говорит она тихонько. – Милый Марк... Отчего у вас такие... дикие глаза? Как у Гнедко, когда он хочет укусить? Отчего вы такой новый? Разве это не было блаженство? Вы как будто страдаете? И мне стало страшно чего-то...

– Дитя мое! Не бойтесь меня! – говорит он разбито. – Вы для меня слишком дороги. Пусть разорвется мое сердце скорее, чем я лишу вас хотя бы одной из ваших иллюзий! Я не сделаю непоправимой ошибки. Я не переживу вашего отвержения...

Она силится проникнуть в темный смысл его слов. В смысл всего происшедшего.

Что-то рухнуло между ними. Она это чувствует. Какая-то перегородка... через которую она не могла до него коснуться. Теперь такое чувство, как будто она его знала давно...

– Обнимите меня! Сядьте рядом! Вот так... О, какое бла-

женство, Марк! Вы меня любите!!! Говорите мне это... Каждый день, каждый час... О, как я хочу быть любимой! Любимой вечно... Какой рай ваши поцелуи! Как я могла жить, не зная вас!

Вдруг толчок в сердце. Жгучая боль. Как от удара ножа. И чары далеко.

Она отодвигается. Ее лицо как будто постарела.

– Расскажите мне о *ней*, – говорит она чужим голосом. – Вы ее очень любите? Очень?

– Я люблю вас, а не ее, – отвечает он робко, как на суде.

И Маня неумолима, как должен быть судья.

– Где она теперь? Где?

– За границей.

– Почему же не с вами?

– Мы давно уже разошлись...

– Почему? Почему?

Он молчит, опустив веки. Синеватые, прозрачнее веки. И вражда Мани крепнет.

– Чего же вы не отвечаете?

– Это моя тайна...

– Ах! Вот как! У вас от меня тайны?

Отчаяние опять затопляет ее душу. Она встает, чтоб уйти.

– Пойдите! – с болью, глухо говорит он, удерживая ее руку. – Я буду откровенен. Сядьте рядом! Слушайте... Я женился, когда мне было двадцать пять лет.

– По любви? Вы ее любили? Страстно? Страстно?

— Да... Не так, как вас сейчас... Это было другое чувство. Я любил в ней не ее индивидуальность. Она была бесцветна, как большинство женщин. А мою любовь... Мои мечты... И я был счастлив в первые два года. Потому что она тоже любила меня. Опять-таки не мое «я», которого она не знала и не стремилась узнать. Как большинство женщин, она любила во мне мужчину... тот новый мир, который я ей создал. Мы жили рядом, не зная друг друга. У вас родился сын. Через год он умер от воспаления мозга... Маня! Если я вам скажу, что я страдал и плакал, вам это будет чуждо и дико. Что значит смерть ребенка для вас? И дай Бог, чтоб это самое жгучее горе жизни прошло мимо, не опалив вашей души. После чего наша жизнь похожа на сад, сломанный бурей. Одни цветы поднимутся, другие зацветут еще ярче. Многие остались нетронутыми. И радуют глаз. Но есть деревья, расщепленные бурей. Есть деревья, обожженные грозой. Ничто не вернет их к жизни! И забыть о них нельзя...

Маня тихонько придвигается и кладет голову на его плечо.

— У меня есть дочь... Когда-нибудь она вырастет и будет, как вы, жадно тянуться к счастью. Я не хотел бы дожить до этой минуты. Впрочем... Мне нечего сокрушаться! На мою долю судьба отмерила скупое и годы, и радость. Маня... Милое дитя мое! Вы никогда не должны меня бояться. Вы созданы для радости, для материнства. Для полновзвучных переживаний. И счастье ждет вас. Но не со мной...

– Вы от меня отрекаетесь?

Широко открытыми глазами глядит она в его лицо.

– Случалось ли вам, едучи в курьерском поезде, видеть на какой-нибудь крохотной станции маленьких, незаметных людей в кокардах? Телеграфисты... Начальники станций... Нет? Вы их не замечали? Поезд мчался... Огни его погасли... Станция тонула опять во мраке... И все уходили спать... Но они – эти незаметные люди – рыдали, быть может... Грызли подушки... Они видели мельком в окне ваше личико. И оно разбудило их мечты. И жгучая зависть к недоступному и далекому отравила надолго их души. Так и я. Когда вы забудете меня с другим...

– Никогда! Боже мой, Марк! Это невозможно!!!

– Ну, хорошо. Я скажу иначе Когда горе постучится в вашу дверь, и жизнь покажется вам в тягость... позовите Штейнбаха...

– Не говорите так! Мне страшно... Не знаю почему. Но мне страшно... И жаль вас... Милый Марк. Почему же вы один? Где ваша дочь?

– Дитя мое... У меня тяжкая наследственность. Я это узнал слишком поздно. Меня обманывали с детства, желая создать мое счастье. Надеясь обмануть судьбу. Но когда я открыл эту тайну, я понял, что, женившись, совершил невольное преступление. Такие, как я, не должны иметь детей. Я расстался с женой. Я дал ей княжеское состояние и свободу, Но она не хочет и не умеет ею пользоваться. Отнять ребенка

у нее я не имел права. И не желал. Теперь вы знаете все...

Глубокая тишина наступает в комнате. Прижавшись к груди Штейнбаха и обняв его голову, Маня целует его брови. И горячие слезы обжигают его лицо.

Святые слезы сострадания...

– Какое несчастье! – говорит Маня, стоя в роще перед Штейнбахом и отдавая ему во власть свои руки. – Кто-то подглядел вчера, что мы ахали к вам. Дома скандал. Пришлось выдумать целую историю, что вы катались, а я вас встретила. И что вы предложили мне осмотреть дом. Это ужасно, Марк! Я так ненавижу ложь!

– Напрасно...

– Что напрасно? Ах, не говорите глупостей! Но я в отчаянии... Поедьте скорей! За семь бед один ответ... Неужели это в последний раз? Я лучше умру. Я не могу жить без вас! Не могу!

О, как горячи нынче ее поцелуи! Каким зноем веет от ее объятий! У Штейнбаха кружится голова...

Вдруг она упирается кулачками в его грудь и, задыхаясь, отстраняет его лицо.

– Пойдите! Пойдите! Я вспомнила... Боже мой. Как я могла это забыть? Когда я рядом с вами, я положительно глупею. Вот что... Нынче вас бранили за обедом ужасно. Говорили... Нет! Я не могу повторить этих гадостей!

– Я знаю, – усмехается он кривой улыбкой. – Меня назы-



вали наглым жидом... Нахалом, который привык все покупать за деньги.

– Почему вы знаете? Как вы узнали?

– Разве это неправда?

– Как вы могли узнать? Ну, да... Они это говорили... Соня спорила. Она за вас готова глаза всем выцарапать. Она вас так высоко ставит!

– Да?... – Лицо Штейнбаха слабо краснеет.

– Вы.

– Этого мало... Я тронут.

– Ну, хорошо... Постойте! О чем я говорила? Да... Вы меня все сбиваете... Удивительная у вас способность делать людей глупыми! Вот что... Дядюшка говорил: «Он отлично знает...» Это про вас. «Что она не певичка и не швейка». Это про меня «И что безнаказанно флиртовать с нею нельзя»... Это он отвечал отцу Сони. А тот кричал: «Что этому нагл...»

– Наглому жиду?

– Ну да... «Что ему нужно еще от девчонки?...» Это я-то девчонка? Ужасно он грубый и глупый, этот Горленко.

– Ну... И что же дальше?

– Марк... Какое у вас злое лицо! Коршун! Настоящий коршун. Нет, я не буду говорить!

– Маня, милая... Для меня это очень важно. Дайте ручку! Слышите, как бьется мое сердце? Говорите все! Не щадите меня! Я от вас все выслушаю смиренно.

– Ну, словом... Он говорил гадости. Будто вы хотели ме-

ня... Нет! Это так некрасиво звучит!

– Взять на содержание?

– Да! Какое глупое и плоское выражение! Не правда ли?

– И вы этому поверили?

– Нет! Нет! Как вы можете это думать, Марк? Ни минуты не верила... Иначе разве я была бы здесь? Дайте, я поцелую ваши брови. Ваш чудный лоб... Марк! Я не думаю, чтоб делала дурно, передавая вам чужие слова. Что вам любовь или ненависть каких-то Горленко или Лизогубов? Вы бесконечно выше их. И оскорбляться не можете. Так?

– А что говорила Соня?

– Ах, она ангел! Она вами очарована... Она спорила с мужчинами и с матерью. Она говорила, что, если ваше чувство серьезно, то вы разведетесь Я женой и женитесь на мне. Ой, Марк! Отчего вы вздрогнули? Даже испугали меня... Что вы так смотрите?

– А что... вы... Маня... Вы что думаете об этом?

– Вздор какой! Я ни о чем... таком не думаю... Зачем мне думать? Мне только больно до слез, что о нас говорят чужие люди!

Штейнбах бледнеет. Бледнеет так сильно, что Мане делается жутко.

– Дитя мое... Не надо недоразумений! Я никогда не разлюблю вас! Но и никогда не женюсь на вас. Если б вы даже этого желали... или требовали сами. Хотите вы меня выслушать и понять?

– Да...

– Прежде всего в этом нет для вас оскорбления! Я отрицаю брак. Я отрицал его всегда. Но моя жена-несчастливая без вины... она очень религиозна. Если я потребую у нее развод, я нанесу ей незаслуженную и глубочайшую обиду, которая отравит ей жизнь. Она мне чужая. Теперь... Но она любит имя, которое я ей дал. Она цепляется за ту жалкую связь, что осталась между нами. За этот призрак семьи. Наконец, я этого не сделаю для дочери. Так что, с точки зрения ходячей морали, Горленко и Федор Филиппыч правы. И я перед вами негодяй! И если вы этому верите...

– Нет! Нет! Молчите! Я люблю вас, Марк. Я верю в вашу любовь. Забудьте все, что я вам сказала! Я не должна была вам это говорить! Знаете? Я никогда не мечтала выйти замуж... Как-то не думала об этом. Я мечтаю о сцене, об искусстве... А потом Ян так много говорил мне об этом, что, знаете, теперь у меня к браку прямо отвращения. Подумать только, что я должна целовать, когда мне не хочется. Родить детей, когда они мне ни на что не нужны. Не смею двинуться за границу без разрешения мужа. Вообще от кого-то другого зависеть. О, Боже мой! Что может быть лучше свободы? Я рождена цыганкой, Марк. Так говорила всегда милая фрау Кеслер. И если б я вышла замуж, мой муж повесился бы от негодования. Или выгнал меня из дома. Я ужасная эгоистка, Марк! Я была такою с детства. Обязанности мне ненавистны. Насилия я не выношу... Она задумывается.

– Я все стараюсь вспомнить, Марк, на кого вы похожи? И не могу вспомнить... Ах, да! Вот еще что... – Она отодвигается. – Нынче дядюшка сказал о вас так: «Если б он даже мог, то на что ему жениться? Мало разве красавиц он имел на своем веку?» Что это значит, Марк? Знаете? У меня душа разом мутнеет как-то. И жизнь становится противна, когда я думаю, что вы целуете другую. Пойдите!.. Оставьте мои руки!.. И отвечайте по порядку.

– Опять?

– Ну, да... опять... Я все хочу знать! Где она?

– В Вене...

– Какая она из себя?

– Я вам уже отвечал...

– Нет, нет! Я не о жене говорю, а о ней... У всякого мужчины есть *она*...

– Это опять по катехизису дядюшки?

– Отвечайте, пожалуйста, без уловок! Правду!!

– У меня нет никого сейчас... В том смысле, как это принято понимать.

Она с мгновение глядит в его глаза. Потом прижимается к его груди.

– Как это хорошо! Теперь я счастлива. Можете меня обнять? Ой, как больно! Можно подумать, что Меня хотят отнять у вас. Вы даже... Ха! Когти выпустили...

– А разве нет? Разве все кругом не стараются восстановить вас против меня? – с болью говорит Штейнбах.

– Это невозможно, Марк! Когда я была маленькая, я всегда дружила с самыми отъявленными негодяйками, от которых все отвергивались. Мне нравилось покорять их, делать ручными. Вы, кажется, опять улыбаетесь? Я чувствую, как движутся ваши губы.

– Нет, ничего... Продолжайте!

– Чем больше бранят человека, тем он мне интереснее. Ну-с, а теперь... Потрудитесь припомнить, что думали вы год назад, когда ждали поезда в Плисках и глядели на луну?

Ее голос звучит торжественно. Он громко смеется. Как странно слышать! Это его первый душевный смех.

– Ничего смешного нет, – говорит она серьезно. – Я так долго жила этими воспоминаниями! Я так много вложила в эти мечты...

– Сента, – перебивает он, тихонько улыбаясь. – Вы настоящая Сента<sup>37</sup>.

– Что такое? – Маня встрепелась.

– Вы видели оперу Вагнера «Летучий Голландец»?

Маня вдруг вскакивает, хлопает в ладоши и кружится по комнате.

– Нашла... нашла... Вспомнила, на кого вы похожи. Вы – Летучий Голландец...

– Ползучий, – уныло шепчет Штейнбах.

– Как? – Она внезапно останавливается перед тахтой, открыв глаза, полуоткрыв губы, подавшись вперед. Вся – ожи-

---

<sup>37</sup> Персонаж оперы Р. Вагнера.

дание...

– У моей души нет крыльев... Я – ползучий Голландец...

Маня раздражается звонким смехом. Она смеется до слез. И все ямочки ее тоже смеются. Легко, как кошка, она прыгает на тахту и обвивает руками шею Штейнбаха.

– Ну, будьте милый! Вспомните! Вы стояли на краю платформы и глядели на луну. А мы крались за вами, как тени. О ком вы думали тогда?

– Не помню...

– Вы не любили тогда маленькую, белокурую, замужнюю женщину? Не любили безнадежно?

– Не помню!

– Боже, какая глупая память! – сердито говорит Маня и ударяет кулаком по подушке. – Ну, солгите что-нибудь! Выдумайте! Неужели вы не видите, как я жажду всего... необычайного!

– У меня нет фантазии... Я скучен, Маня, – говорит он печально.

– И вы не чувствовали, что мы крадемся за вами? Что вы... наполнили всю нашу душу? – Глаза ее вдруг становятся большими и глубокими. – Как странно, Марк! Какая странная вещь – жизнь! Всего только год назад мы стояли в пяти шагах друг от Друга... Такие далекие!.. Бесконечно далекие... И могла ли я думать, что вы... такой гордый и необыкновенный... полюбите меня?..

Он порывисто притягивает ее к себе.

– Я был безумец, Маня! – говорит он глухо, с большой страстью. – Не помню, чем была полна моя слепая душа в те мгновения. Наверно, ничтожным... Наверно, повседневным... Она не наполнилась священным трепетом... Она не задрожала от предчувствия, Что тут, рядом... стоит моя Судьба!

Он откидывает ее головку. И смотрит ей близко в глаза своими бездонными зрачками.

Потом приникает к ее губам.

И опять бездна бесшумно разверзается у их ног. Опять бездна глядит на них немymi очами. Она зовет.

И время останавливается...

Маня пишет:

«Я люблю вас, Марк! Люблю безумно.... Теперь, когда я не могу идти к вам... когда я дала слово, я поняла, что вся моя жизнь в этой любви, наших встречах. Я уступаю, потому что иначе придется уехать в Москву. А что я буду там делать без вас? Ах, если бы мы могли не расставаться!..

Они говорят, что вы меня погубите... Что значит «погубите»? Если гибель – ваша любовь, то пусть я погибну! Лучше прожить один год безумно счастливой, чем влачить долгую жизнь без Красоты...

Смерть?... О, я боюсь долгой болезни в постели запаха лекарств... Боюсь постепенного разрушения, усталости окружающих и того отчуждения, которое, как стена, незаметно и страшно растет между умирающим

и его близкими.

Помните «Смерть Ивана Ильича»?..

И как это люди все стремятся умереть в своей квартире, в собственной постели, среди семья... «от долгой и тяжелой болезни», как пишут в газетах? Но смерть добровольная и внезапная... Какая отрада!

Ян говорил: «Надо уметь жить красиво. Но еще важнее умереть прекрасно...»

Если ей меня разлюбите, я пойду на баррикады. И погибну радостно и красиво. Как часто я мечтала о таком конце все эти два года! Чего же мне бояться, если даже смерть в моей власти. Если я никогда не узнаю усталости и отвращения?

Марк, я пишу вам, потому что мол душа полна... Все спят. Сейчас ночь... Приезжайте завтра непременно! Я налюбуюсь на ваши брови. Вы будете петь. И я не забуду, как было мне больно, когда чужие люди топтали цветы моей души. Они ваши, Марк! Сорвите их! Упейтесь их ароматом! И бросьте их, если это неизбежно... если любовь уходит, как говорил мне Ян. Тогда я умру. Без слез, без проклятий... Как умирают бабочки, живущие один день...»

Белоголовый семилетний Остап с упрямым лбом и синими, как цвет цикория, глазами, зажав бумажку в грязный кулачок, идет мерным, шагом на Липовку, в «палац»... Маня следит из беседки за крохотной фигуркой. Остап исполнит поручение. Он отдаст письмо, как сказано, прямо в руки «пану Шенбоку».



Они сидят в беседке: Маня, Соня и Штеймбах.

У Сони нынче такое застенчивое лицо. Такая ласковая улыбка... «Милая девушка! – думает Штейнбах. – Как с тобою тепло!»

Вдруг она встает, что-то вспомнив.

– Простите! Там сейчас чай подают. Мама не знает, где ключи... Я вернусь...

Наконец! Наконец одни!!

Маня кидается на грудь Штейнбаха. Прижимается к нему всем телом в могучем, беззаветном порыве.

Они долго молчат. Глаза Мани блещут слезами восторга.

– Прочли письмо, Марк? Прочли?

– Да. Оно со мною, на груди... Я никогда с ним не расстаюсь!

– Вы счастливы, Марк? Вы счастливы моей любовью?

– Я благословляю вас, Маня! – грустно говорит он.

Вдруг он вспоминает и отодвигается.

– Завтра я уезжаю за границу.

– Что? Что?

– Я вернусь, дитя мое... Я скоро вернусь. Через две недели... А может, и раньше. Я получил телеграмму утром. Моя дочь больна.

– Вы едете к ней?

– Я еду к больной дочери.

– Нет! Нет! Я не пущу вас! Марк, не уезжайте! Не разби-

вайте моего сердца! Если вы уедете, значит, вы ни минуты меня не любили! Ни минуты!

– Вы жестоки... Выслушайте меня!

– Вы опять вернетесь к *ней*? – Ах, зачем я вам писала это письмо!.. Зачем мы встретились? Отдайте его! Отдайте сейчас! Я вас разлюбила! – Я вас ненавижу!

Он бледнеет, как будто у него хотят отнять жизнь.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.